

Л

юблю ненастье наших степных просторов.

Не летний окладной сонный дождичек, не осеннюю едкую изморось и не снежок, милостиво снисходящий на землю.

Люблю, когда природа выворачивает нутро наизнанку молниями, громом, ливнем, бураном.

В такое время душа и тело трепещут и одновременно радуются стихии, невольно втягивающей в слепую коварную игру. Выдержать напасть — значит, долго, может быть, в течение всей жизни чувствовать что-то такое, что другим не дано.

Это не афишируемое чувство где-то внутри тебя, в твоём естестве. Оно не опустошает, а делает тебя богаче. Богаче на ту толику переживаний и опыта, которые обрел в поединке и которые побудили переосмыслить свои, казалось бы, вечные ценности.

Мне такое испытание довелось пережить несколько десятилетий назад. И вспомнил я о нем, гуляя в старом парке, где застал меня буранный ветер со снегом.

Он навалился неожиданно, хозяйничал рьяно, выворачивая с корнем вековые тополя и липы.

Найдя укромное местечко у старинного барского флигеля, чудом сохранившегося до наших дней, я всматривался и всматривался в пляску стихии, и память настойчиво повлекла меня в тот далекий день, когда мою дорогу домой оседлал буран и пришлось вступить с ним в единоборство.

В отнюдь не обязательное и, может быть, даже предосудительное единоборство.

Я уезжал из Казани домой на студенческие каникулы. Собирался наскоро, легкомысленно, хотя дорога предстояла дальняя. Но неудачно сложившийся день притупил разум и позволил расплескаться эмоциям.

...Мы сдавали последний в сессию и самый каверзный предмет — политэкономия. Не то, чтобы мудреная наука эта не вмещалась в наши насквозь гуманитарные головы, и не то, чтобы не интересовала совсем. Просто наше усердие коварно подтачивало самомнение. Подумаешь, политэкономия! Философию с ребусным Ницше и щеголеватым на его фоне Шопенгауэром одолели, а уж в превращении товара в деньги, а затем опять в товар как-нибудь разберемся. Был бы товар, в деньги мы все превратим.

Но больше всего нашу нелюбовь к мудреной науке возбудил преподаватель. Он был из тех, к счастью, редких на моем пути преподавателей, которые, может быть, и любили свой предмет, но любили в прошлом. К старости любовь выветрилась, оставив наследство в виде сухих терминов и раздражающей необходимости вдавливать эти термины незнакомому молодому племени, которое, профессор был в этом уверен, считают их обузой.

Ростом он не удался. Говорил невыразительно, слегка заикаясь и чирикавая фразы на один лад. На крупной, с крутым лбом голове — маленький хохолок седых волос. Лекции читал обязательно за кафедрой, из-за которой был почти не виден. И было забавно наблюдать, как его хохолок, будто воробышек, порхает над кафедрой.

Профессор пытался компенсировать свои слабости администрированием. Единственный из всех преподавателей в начале семестра заявил, что будет вести дневник посещаемости лекций и что показатели дневника непременно отразятся на итоговом экзамене. Перед каждой лекцией проводил перекличку. Мы вскакивали, как ваньки-встаньки, браво отвечая по-армейски: «Я!» и учтиво раскланиваясь аудитории, с нарочитой неряшливостью усаживались на свои места, всем видом показывая, что манеры профессора явно не по нутру вольному студенческому сердцу. Но все это его отнюдь не смущало. Спросив кого-либо из студентов, он всякий раз ровным, с подвизгом, голосом подводил итог, при этом говорил отстраненно, будто для себя:

— Ну, вот, милейший. Политэкономия, э-э-э, эта девушка капризная. Она, э-э-э, любит, чтобы за ней поухаживали. А вы пришли на свидание и спите. Неуд вам, э-э-э, неуд в очередной раз, милейший...

Студент плюхался на место, а аудитория дружно и шумно вздыхала, понимая, что следующей экзекуции может быть подвергнут любой.

Преподаватель в соответствии с дневником готовил нам сюрприз на экзамене. А мы — преподавателю тоже. Мы должны были доказать профессору, что его подопечные — бывалые моряки в политэкономическом море, и поэтому основательно кропали шпоры. Кроме того, еще и решили нашему мучителю насолить. И это отмщение, на наш взгляд, было

коварным. В конце семестра деканат каждой группе предметы, по которым предстояла сдача зачетов и экзаменов и количество дней, выделенных на сессию. А очередность экзаменов и время, необходимое для подготовки к каждому испытанию, определяли мы, студенческая братия. Называлась эта вольность студенческим самоуправлением. Воспользовавшись своим правом, мы решили завершить сессию политэкономией, а экзамен определили на воскресенье, лишив почтенного ученого вождя выделенного выходного.

Вот это коварство и вывело нашего опекуна из себя. Хотя на экзамене он и старался выглядеть спокойным, но нервная дробь почти мумифицированных тонких пальцев выдавала внутреннее напряжение. Мы готовились по билетам, шурша шпорами и роняя их на пол, но почтенный профессор не обращал на нашу возню никакого внимания.

Первым, взяв на себя роль камикадзе, пошел отвечать я. Выхожу, бодро сообщаю номер билета и слышу вкрадчивое:

— Молодой человек, э-э-э, не спешите. Садитесь, положите билет, побеседуем неформально, без билета...

И собеседование покатило, как старая телега на ухабах — тарыхтя и подпрыгивая. Выяснилось, что мое усердие в написании шпор все же помогло отложиться кое-чему в памяти. Я не выглядел человеком, махнувшим рукой на эту самую чуждую студенческому пролетариату политэкономии капитализма. Я выглядел студентом, в силу ограниченности кругозора (а кто может быть умнее и сведущее экзаменатора, тем более профессора?!) не одолевшим кой-каких тонкостей сложной науки.

— Ну, ладно, — подвел черту собеседования профессор, — э-э-э, так и быть...

Он сделал паузу, раздумывая.

При этих словах душа моя начала ликовать: добродушный тон позволял надеяться на хорошую оценку, которая будет подарком за сложную сессию.

Оказалось, ликовал рано.

— Ну, ладно, — повторил снисходительно профессор, — э-э-э, так и быть «удочку» вам поставлю. Большого вы не заслуживаете. Вернее, вы лично, может быть, и заслуживаете, но ваши знания предмета, увы, нет. Я предупреждал, что политэкономия — девица капризная, а вы к ней так легкомысленно, так, э-э-э, легкомысленно...

Из аудитории я вылетел как ошпаренный.

Позже выяснилось, что «удочек» были удостоены еще два однокурсника. Остальным двадцати двум надлежало явиться для пересдачи. Каждому профессор заявлял, что ему так понравилось общаться в воскресенье, что он не преминет возможностью использовать свое право встретиться на экзаменах еще раз. Но мне от этого не было легче. Тройка по политэкономии в мои планы никак не входила. А откровенно говоря, это была катастрофа!

Я скатился вниз, к проходной альма-матер.

Приютивший нас корпус не был главным. Построенный в начале пятидесятых годов, он отличался «сталинским» стилем — четкостью форм и сдержанностью декора. За счет высоты этажей четырехэтажное здание выглядело Гулливером. Стены были окрашены в желтый цвет, а декоративные элементы — четыре пилястры с каждой стороны фасада, колонны высотой в три верхних этажа, окна с треугольными фронтонами, фронтон — в белый. Ритмичное чередование желтого и белого цве-

тов вместе с декором придавали зданию подчеркнуто официальный, серьезный, строгий вид. Шесть колонн в центре фасада, опирающихся на аркаду входа, напоминали кадровых офицеров царской армии. Все подогнано до мельчайших деталей. Стройны, высоки, величавы. Они будто вытянулись в струну и, приложив руки к фуражке-фронтону, приглашали нас пожаловать в храм науки, где широкая, под стать дворцовой, лестница то растекалась на два рукава, то вновь сливалась в один и вела на самую верхотуру, на четвертый этаж, приютивший наш историко-филологический факультет.

Ничего не попишешь: коль не повезет, так не повезет. Я выскочил на улицу и заторопился прочь. Непроизвольно оглянулся. Показалось, что здание всем своим видом — аркадой, щеголеватыми колоннами и пилястрами — будто поддразнивало: «Ну, все, приятель. Из моих дверей ты вышел в последний раз...» Эта возникшая исподволь, из глубины сознания, мысль привела меня в трепет. Я никак не мог от нее отделаться, спеша домой.

Домой — понятие условное. Направлялся я в опостылевшую квартиру, где снимал угол. Невесть откуда взявшаяся квартира появилась после того, как мы, отважные абитуриенты, взяли на бордаж, как тогда казалось, неприступную галерею под названием Казанский государственный университет. Взять-то взяли, но не предполагали, что испытания на этом не закончились. И они начались в первый же день студенчества. Было объявлено, что каждый первокурсник должен выбрать или стипендию, или общежитие, а оба этих блага были положены только студентам-сиротам. Я прикинул: общежитие без стипендии не для меня. Стипендия без общаги — мой вариант. За угол в квартире, конечно, придется платить. Но на карманные расходы, на жизнь останется рублей двадцать-двадцать пять. Клад!

Искать угол долго не пришлось. В первый же день занятий всех новоиспеченных студентов отправляли в деревню на картофельную страду. Надо было куда-то срочно определить пожитки, состоящие из сумки с салом и чемодана со шмотками. В жутком цейтноте в фойе корпуса мне и подвернулась остролицая, остроглазая, по-деревенски покрытая белым платочком пожилая женщина, которой нужен был постоялец. Я ее условия принял и даже благодарил за радушие. Что квартира больше походила на случайный приют беженцев, нежели на городское жилье, меня тогда не беспокоило. Бывает и хуже, думал я, главное, вещи определил, и возвращаться с картошки есть куда. А там посмотрим.

Потом, позже, по приезду с картошки, выяснилось, что плохие квартиры бывают, но хуже — вряд ли. У нее имелось только два достоинства: дешевизна и близость к университету. А в остальном — катакомбы.

Старинный дом состоял из двух деревянных этажей и кирпичного подвала. Деревянный сруб от времени почернел, скукожился, перекосился и выглядел нищим, просящим у прохожих подаяния. А мои апартаменты, будто от стыда, прятались в самом низу — в подвале.

Жилище-вместилище представляло собой небольшое квадратное помещение, разделенное на два отсека дощатой, оклеенной выцветшими рыжеватыми обоями перегородкой, густо засиженной мухами. В одном, дальнем, царствовала хозяйка с дочкой. Что там было, можно только догадываться. Наверное, какая-нибудь печка, наверное, кровати и белье, развешанное на их спинках. Что-то еще там поместить было невозможно.

На гостевой половине, в которую попадаешь сразу из коридора, стоял колченогий круглый стол и две кровати. Одна, прижавшись к стенке у входной двери, другая — у перпендикулярно расположенной к входу стенки. Рукомойник, вешалка для одежды и осколок пожелтевшего зеркала дополняли скромное убранство жилья. Окон в подвале не было, и апартаменты освещала маленькая, с желтоватым отливом лампочка без абажура. Здесь намеревался царствовать я, но царствовать в одиночестве не пришлось: вскоре хозяйка привела еще одного бедолагу-студента из пензенских краев. Молчаливый, в очках с толстенными стеклами, он все свободное время расписывал какую-то амбарную книгу бесконечными формулами, лежа на кровати навзничь.

Кровати были детскими. В скрюченном состоянии на них долго не поспишь. Но чтобы вытянуться в полный рост, нужно было пропускать ноги через спинки кроватей. Тут поджидала другая беда: холод. Печка, которая с аппетитом съедала тарные дощечки, не слишком щедро делилась с нами теплом. Оно доходило до нас с хозяйской половины в последнюю очередь. А сколько потребовалось бы тех дощечек, чтобы температура не загоняла нас под одеяла и накинутые на них пальто?! В довершении ко всему туалет находился во дворе. Желающих пользоваться им было много, а желающие навести в нем порядок, похоже, вымерли как класс.

Новый год мы с соседом-математиком, товарищем по несчастью, предпочли встретить на улице. Шел редкий ленивый снежок. Всматриваясь в сияющие окна домов, в огни загадочно мерцающих гирлянд, в одухотворенные лица редких прохожих, мы вслушались в ласковые, обволакивающие мелодии, в хрустальный звон курантов и чувствовали себя — нет, не изгоями, а участниками какого-то таинственного, сказочного действия, в котором мы были главными героями. Нам казалось, что это пока мы дети подземелья, а вот получим дипломы, и уж тогда...

В отличие от нас хозяйка дома никаких планов на будущее не строила. Она довольствовалась тем, что есть, и воспринимала все, что есть, как подарок судьбы. Ее семейных тайн я не знал. Но жила она вдвоем с дочкой, которая была года на три-четыре младше нас. Пенсия хозяйки, дочкина, учащейся профтехучилища, стипендия и наши квартирные взносы составляли бюджет семьи. Очень скромный бюджет.

В отношениях матери и дочери сквозила какая-то лукавая наигранность, за которой скрывались отнюдь не выдуманные опасения. Априори это была любовь, но любовь странноватая. Мать носила фамилию Макарова, а дочь, пышнотелая, курносая, похожая на пончик, девчонка — Никитрюк. Приходя с занятий, Никитрюк докладывала матери:

— Ну, что, Макарова, гордись дочерью. Из двадцати твоих копеек пять сэкономила.

— Наелась хоть?

— Еще бы не наестся! Нажралась! Взяла в столовке кашу и компот. Все вместилось.

Иногда к Никитрюк приходила подруга — высокая, медлительная девица. Они долго переодевались, не обращая внимания на нас, прихорашивались перед осколком зеркала и шумно уходили.

— Пока, мальчишки! Мы на гулянку. Не скучайте, скоро придем, — говорила Никитрюк, жеманно помахивая ручкой и поддразнивая нас. Было заметно избыточное количество румян на ее и без того розовощекой улыбки мордахе.

Макарова в это время сидела в своей келье. Минут через десять после ухода парочки она сосредоточенно надевала каракулеву шубу и молча куда-то уходила. То, что когда-то называлось каракулевой шубой, было похоже на давно облезшую шкуру, потерявшую от времени форму и прохудившуюся на сгибах. Но другой одежды на случай морозов у Макаровой, видимо, не имелось.

Мама с дочкой отсутствовали часа два-три. Первой являлась Никитрюк — глаза горят, щеки смахивают на снегирей, истома так и льет пенным пивом. Она быстро раздевалась и укладывалась спать. Под ее молодым пышным телом кровать посапывала, повизгивала, постанывала.

Затем приходила Макарова. Она тоже, не мешкая, шла в опочивальню. Минут пять в келье было тихо.

— Ну что, Никитрюк, нагулялась? — вкрадчиво начинала допрос Макарова.

— Не волнуйся, Макарова, нагулялась.

— Где была? Небось, на Черном озере?

— Где была, там уже нет, Макарова.

— Знаю, знаю, на Черном озере. Солдатики щупали и сисечки мяли.

— Откуда ты знаешь, кто и что мял? Тебе, Макарова, давно было сказано: не шпионь. А ты опять за свое...

— Материнское око — всевидяще.

— Ты со своим всевидящим оком лучше сидела бы дома и не влезала бы в мои дела, Макарова. Нечего из меня посмешище делать. Мы сами с усами.

— Ага, с усами и с порванными трусами.

— Маху дала, Макарова. Трусы-то я как раз сменила.

— Кому, говоришь, дала? Гляди, додаешься. В подоле принесешь, и на порог не пущу...

Этими пререканиями, доставлявшими какое-то необъяснимое удовольствие обеим сторонам, заканчивалась каждая прогулка Никитрюк...

Я, конечно, не унывал, рассчитывая найти квартиру поприличней. Но все как-то некогда было: семинары, лекции, курсовые отнимали все свободное время. Тройка по политэкономии показала стратегическую несостоятельность расчета. Общаги у меня не было. А теперь не будет и стипендии. На что жить? Чем платить даже за эту несносную дыру? Признаваться дома, что провалил сессию, я не собирался. Дома и без того денег было негусто. А где их найти — еще не знал.

Мрачные мысли, обгоняя одна другую, не приносили успокоения. Хотелось быстрее покинуть эту опостылевшую нору, этот обернувшийся ко мне жестокостью город с мягким, вкрадчивым названием Казань и хотя бы на время забыться в тишине и уюте. Наверное, поэтому собрался в дорогу, не позаботившись ни о том, чтобы утеплиться, ни о том, чтобы запастись съестным, и, написав хозяевам записку, что отбыл домой, поспешил на вокзал.

Поезд Казань-Харьков, который подали на посадку, периферийный. Все, что осталось от привилегированных фирменных и скорых, все это было его: обветшавшие, давно не крашенные вагоны, трясущиеся от старости на ходу; заспанные, неряшливые проводницы; служители ресторана в засаленных халатах, разносившие газеты и сладости. В тамбуре пахло рассыпанным по полу бурым углем, который плющился под ногами.

образу черные жирные пятна, и туалетом, бесстыже распахнувшим двери. Поезд был еще и капризный: остановится в чистом поле и стоит, обесиленный дальней дорогой. Надолго ли остановился и когда тронется в путь, ни у кого не выяснить.

Я покупал билет до экзаменов и решил шикануть, проехавшись в купе. По студенческой льготе прогулка почти в полторы тысячи верст, до города Алексеевки на Белгородчине, расценивалась всего в пять рублей. Но шиковать не пришлось. Мороз в страдные для студентов январские дни в Казани, по обыкновению, стоял ядреный, удалой. В купе холодно и затхло: видимо, тряпку, которой вытирали пол, не мыли. Я определил на место чемодан. Прежде чем задернуть слегка заиндевевшее окно вертикальной шторкой из дерматина, поискал глазами вокзал, который был для меня одним из любимых старинных казанских зданий.

Оно приглянулось сразу, как только ранним утром первый раз вступил на казанскую землю. Город большой, незнакомый, с едва уловимым восточным колоритом сначала насторожил меня. И вдруг взгляд остановился на вокзале. Не помпезное, не официозное, а какое-то домашнее, уютное, напоминавшее сказочный терем. Будто для меня выстроили! И волнение постепенно улеглось. Не нравились только шпили, похожие на старые немецкие шлемы с металлическим фигурным навершием. Позже узнал, что проектировал вокзал архитектор с немецкими корнями, поэтому его приверженность к острому фигурным шпилям не удивляла. Она скорее подчеркивала особенности национального восприятия жизни, которую должно было венчать воинственное острие.

Рассматривая еле проступавшее через заиндевевшее окно здание, вновь подумал о том, что, быть может, вижу его в последний раз. Нагрелась, навалилась усталость. Я застелил постель, предусмотрительно перенес изголовье от продуваемого окна к выходу, и лег, не раздеваясь, для надежности поверх грубой шерсти одеяла накинув пальто. Через минуту-другую я уже спал блаженным сном...

Проснулся, казалось, тот же час, оттого что на меня кто-то смотрит — многоглазый и многорукий. Я вскочил, сел в позу падишаха, протирая глаза и не понимая, куда меня занесло. По вагону разнеслось:

— У-р-р-р-р-а-а-а-а...

Только после этого я пришел в себя. Купе было открыто. Сквозь окно коридора просачивалось скупое январское солнце, высвечивая в полутьме двух молодых людей чуть постарше меня. Это они склонились надо мной, растопырив пальцы и выпучив глаза. Потом выяснилось: близнецы. Близнецы были скроены грубовато, без примерки: крупные скулы и носы с горбинкой, длинноватые руки. Грубоватая внешность, как ни странно, парням была к лицу: они казались мужественными, уверенными в себе, много повидавшими зрелыми мужчинами. Познакомились. Я так и сидел в позе падишаха, завернувшись в одеяло, а они привставали, слегка кланялись, протягивая для пожатия руку и называя имена.

— Александр.

— Сергей.

Манерничали.

Оказалось, что попутчики тоже студенты университета и тоже едут на побывку домой. Александр осваивал премудрости филологии в МГУ, досрочно сдал экзамены и заглянул к брату в Казань, а Сергей штудировал юриспруденцию в нашем университете.

— Ну, старик, ты даешь, — сказал Александр, картавя. — Вечером зашли в купе — спишь. Утром проснулись — спишь. Одиннадцать минуло — спишь. В анабиоз впал. Думаем, неужто на всю зиму, как медведь? Хотели уже врача искать по вагонам. Слава Богу, не пришлось.

— Сессия вымотала.

— Привет тебе. Ты, видать, еще сессиями не обкатан, — философствовал Александр. — Из тех, кто считает, что может выучить китайский за сутки до экзаменов. Запомни: это чушь. Будешь шустрить в течение семестра, не придется в анабиоз впадать. Подойдут экзамены и зачеты, а тебе автоматец — один, другой, третий. Вот он, настоящий праздник знаний, вот пиршество предусмотрительности. Так, брат мой?

— Так, вождь бледнолицых, так, — поддельваясь под игривый тон, кивал головой Сергей.

На больших станциях поезд надолго замирал, выжидая, пока хмурые осмотрщики простучают колесные пары. Мы выбегали из вагона и покупали, отчаянно, для форса, торгуясь с местным возрастным предпринимательским сообществом, дымящуюся на морозе вареную картошку, соленые огурцы и помидоры, хлеб, моченые яблоки, а в станционных буфетах пиво.

Походы за съестным привели к открытию: кроме нас и трех девушек, занимавших купе в противоположном конце вагона, пассажиров больше не было. Соседки были приглашены на картофельные посиделки. Те в начале отнекивались, но потом освоились. Кто ж в дороге устоит против аромата очередной порции картошки, добытой на станциях, и изжелта-белых моченых яблок? А главное, кто же не откликнется на аромат молодости? Поэтому, учуяв нашу добычу, они вскоре заходили в купе без приглашения — на правах близких знакомых.

Гостьи не были сестрами, но были очень похожи. Русоволосые, синеглазые, в сарафанах из зеленого, в рубчик, полотна, расцвеченного мелким белым рисунком. Казалось, на сарафанах старательно и аккуратно потоптались какие-то мелкие птицы, и от их лапок остались ровные, аккуратные следы. Белые, ручной вязки, свитера, бережно поддерживали аккуратные, гладко причесанные головки.

Перекидывая из руки в руку горячие картофелины, девушки с нескрываемой иронией слушали наши рассказы об экзаменах.

А они, наверное, были похожи на истории, которые рассказывали сотни лет до нас и будут рассказывать после нас. Кому интересно знать, что дни и ночи напролет студент корпит над учебниками и конспектами, судорожно пытаясь за два-три дня вместить в пустующие кладовые памяти все, чем эти кладовые надо было загружать в течение семестра?

Поэтому мы фантазировали. Вернее, фантазировали мои попутчики. Выходило, что профессора, которых именовали не иначе, как профессорами, недотепы, недалекие, не знающие жизнь люди, а они — brave гусары, для которых нет преград. Одна из девушек, улыбнувшись, спросила:

— Это не о вас диалог? Вспомните: «Ну, вы мой полк не марайте. Мои орлы газет не читают, книг в глаза не видели — никаких идей не имеют!

— Не надо перехваливать, Иван Антоныч...»

— О нас, о нас, — угадав цитату из «Гусарской баллады» и поддельваясь под тон блондинки, поддакнули друзья. — И «Оперция «Ы» о нас, и мультяшник «Ну, заяц, погоди!» тоже о нас. Прототипы...

— А где же в таком случае волк?

— За зайцем прогонялся и на поезд опоздал. Теперь, наверное, догоняет...

Лишь я почти не участвовал в этом праздном, флиртовом разговоре.

— А что-то ваш друг не весел? — удивилась соседка, сарафан которой особо подчеркивал круглые веселые коленки.

Я нехотя признался в причине пассивного восприятия их ярких монологов.

— Ну и динозавры вы там, в группе, ну и динозавры... Чудища, — Александр взял меня большим и указательным пальцем за вихор и дурашливо дунул в лицо, — насекомые. Первый закон господина Митрофанушки что гласит? К экзаменам нужно готовиться. Согласно пункту второму этого закона студент должен не только знать препода в лицо, но и проштудировать его личное дело, добыть секретные сведения о том, что у него за тараканы? — витийствовал Александр, подбадриваемый любопытными взглядами попутчиц.

— Какие такие тараканы? — удивился я.

— Ох, какой же ты зеленый студент, ох, какой зеленый, — продолжал в своем духе Александр. — Тараканы — это закидоны препода. Узнал, и сам используй, и передай другому. У нас, к примеру, античную литературу на первом курсе вела пропэссорша. Она на «Илиаде» помешанная. Ей не надо пересказывать аналитические благозвучия. Ей подавай личное отношение к «Илиаде» и ее героям. Ну, личное так личное. Беру билет, а там Эсхил, которого терпеть не могу и читал поэтому через строчку. Но! Я знаю слабости препода. И бросаю будто невзначай, наобум: прежде, чем проанализировать творчество Эсхила, нужно подчеркнуть его созвучность с героями «Илиады» и «Одиссеи».

— Ну, подчеркивайте, — холодно цедит мне пропэссорша, неприветливо сжимая тонкие губы и улавливая какой-то подвох. Наверное, думала, что буду вешать лапшу на уши про эти мифические созвучия. Шалишь, брат, шалишь! Я волк стреляный. Говорю: мой тезис можно раскрыть на примере одного из главных героев «Илиады» Ахиллесса. Ахиллесс... Ахиллес... Ахил... лес ... И — как зареву! Слезы градом... Реву без удержу... Ищу платочек, которого нет...

— Что с вами, молодой человек?! Что с вами? Успокойтесь, успокойтесь! — пропэссорша дрожащими руками подает стакан воды.

— Не могу, — говорю, рыдая, — не могу! Мой самый любимый литературный герой погиб только потому, что у него было незащищенным лишь одно местечко — пятка. Лишь одно. У некоторых вообще ничего не защищено, и хоть бы хны. А он...

— Да, вы правы — поддакивает профессорша, — одним, чтобы добиться успеха в жизни, не надо никаких лат. Я имею в виду знания. А другим и латы не помогают... Давайте вашу зачетку, ставлю отлично. Вы меня порадовали. Только мой совет: не надо воспринимать литературных персонажей как реальных живых людей. Это ж все-таки литература. Иначе никакого здоровья не хватит.

Александр змодорвил, сделал пару глотков чая и продолжал:

— Выхожу из аудитории, рыдаю. Все думают — завалил экзамен. А я от удовольствия: так вошел в роль, что остановиться не могу. Пришлось даже «Илиаду» с «Одиссеей» перечитать. Вот она, столбовая дорога образования. А вы профессора злить. Тьфу, желторотики.

— Ох, и заливать вы любите, гусары! Мы ведь тоже студентки-химики-технологи. У нас лопаухих пропэссоров что-то не водится, — возразила та, что с веселыми коленками.

— То-то у тебя на коленях сквозь капроновые чулки формулы проступают. Несмываемыми чернилами шпоры написала? — съязвил Александр.

— То другие формулы.

— Какие, извольте полюбопытствовать?

— Формулы любви.

— А почему на коленях?

— Пора, гусары, знать самим.

— Ладно вам скалозубничать, — вступил в препирания Сергей, — человеку реальная помощь нужна, а не ваши театральные сцены. Итак, что мы имеем в итоге? Вся группа оказалась без степаря. И это, братцы, радует. Легче просить снисхождения. Поэтому первое: дома надо взять справку о семейном доходе. Чем ближе доход будет припадать к нулю, тем выше вероятность того, что степуху тебе дадут. Ну, ты сам должен знать, как это делается.

— И знать не надо. Доход и в самом деле стремится к нулю, — встал стеснительно я.

— Ладно, — сказал Сергей. — Считаю дальше. Второе: нужно позаботиться о зароботке, даже если осчастливят тебя степухой. Сторож — милое дело! Я вот вечером книг наберу и подтачиваю целую ночь науку — никто не мешает. Да еще деньги платят. В соседнем детсадице, слышал, есть вакансия сторожа. Возвратимся с каникулы, я этот вопрос провентилирую. И третье. Возвратимся, из своей берлогу переберемся ко мне в общагу. Моему соседу месячную путевку в профилакторий дали. Поживешь, оглядишься, а там определимся. Утро вечера мудренее...

Своими рассуждениями Сергей поднял настроение всем. О таких говорят: толковый мужик. Под барабанную дробь ладоней по купейному столику мы запели. По коридору беспшашно катился наш Высоцкий: «Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, целовался на кухне с обоями».

Девушки поглядывали на нас с чисто женским оценивающим любопытством и заразительно смеялись. И их потаенные взгляды, и задорный смех согревали больше вина.

До самого вечера было солнечно. Заиндевевшие окна оттаяли, время от времени демонстрируя бескрайние просторы заснеженных полей. В Балашове вышли попутчицы, заявив, что после каникул непременно ждут нас в гости. Ближе к полуночи в Лисках попрощались и мои мудрые попутчики. Обменялись адресами как давние друзья.

Я остался в вагоне один. За окнами проплывали редкие фонари, которые шарахались прочь от вагонов. Было тоскливо и неуютно. Не спалось. Да спать и не полагалось. На проводницу надежды никакой. Засну и проеду свою станцию. Придется потом торчать на каком-нибудь полустанке, как уже случилось однажды. Я бодрился, ходил по коридору, заглядывая в пустые купе, которые выглядели беспризорными. Почему-то с детства я не любил пустоту. Мне казалось, что помещение без людей означает одно: хозяевам ты не ко двору, они спрятались от тебя и с нетерпением ждут, когда уйдешь. В девичьем купе заметил прислоненный к окну тетрадный листок, на котором каллиграфическим почерком было выведено: «Гусары! Вот вам формула любви: любовь не картошка. А вы картошкой увлеклись...»

Я хмыкнул, уловив в послании упрек в неустребованности стремления девушек установить с нами более сердечные и тесные отношения.

— Да уж, гусары...

Поезд, как и все поезда такого рода, шел с ленцой. А перед Алексеевкой, моей станцией, он будто начал ощупывать рельсы и шпалы и вообще еле тащился. Исподволь возникло легкое чувство беспокойства. Я не опасался опоздать. Состав приходил в Алексеевку часа в четыре ночи, автовокзал — мне надо было добираться до дома еще и на автобусе — открывался только в шесть утра. В любом случае успевал. Опасался я непогоды, которая в январе частенько хозяйничает в наших местах. Предчувствие не обмануло меня. Вышел в Алексеевке из вагона и задохнулся от ветра. Мело так, что вокзальчик, в одном крыле и на мансардном этаже которого были служебные помещения, а в другом — зал ожидания и кассы, еле угадывался по желтоватым сиротливым оконным огням.

— Вот напасть, так напасть! Как с цепи сорвалась вьюга часа с полтора назад. Не приведи Господь оказаться в чистом поле! Затянет чертопляс этот в пучину, не выберешься, — заохала проводница и перекрестилась.

Женщина будто предупреждала меня об опасности. Но тогда я не придал ее словам никакого значения.

Вышло — зря...

В вокзале пахло овчиной и паленой шерстью. По периметру небольшого зала на диванах с сиденьями из толстой фанеры, плавно перетекающей в округленные спинки, коротали время пассажиры. Государство активно стирало грань между городом и деревней. Вокзал был как раз тем местом, где эта грань заявляла о себе без прикрас и говорила о том, что работы в этом направлении еще непочатый край.

Городская особь держалась отдельной стайкой. А в основном — сельский люд. Шубы из овчины, полушубки, фуфайки, деревенские шапки перемежались с жакетами, которые в нашей местности именовали плюшками. Шили их из плюша — материала с длинным ворсом из ткани. Плюшки были одеждой праздничной, слегка напоминающей меховые одежды, но по сути это те же фуфайки, подбитые ватой. По тому, как женщины покрывают шелковые платки и шали, можно было определить, откуда они. Если подводят концы платков под подбородок, а надо лбом образуется своеобразный куренок, значит, с моих краев. Если платки плотно, словно каски, обтягивают лбы и завязываются сзади, под затылком, значит, из других сел. С сожалением отметил, что знакомых, да и вообще наших среди разноликой публики не оказалось. Выходит, не будет и попутчиков.

Я заметил местечко в отдаленном углу, присел, принаравливаясь к жесткому желтоватому сиденью. Публика свыкла с казенным местом и вела себя непринужденно. Напротив меня монументом возвышалась высокая печь-голландка, кокетливо подпоясанная железным ободом. Время от времени из ее нутра в предусмотрительно прибитую к полу жестяную коробку вываливались раскаленные угли и медленно остывали. Иногда угли подхватывали на картон курильщички и шли на улицу, в метель, зажигать самокрутки — со спичками в такой ветер намаешься. У печки кто-то сушил валенки, надев их на два полена и прислонив раструбами вниз к округлому стану печки, что делало зальчик почти домашним.

Пассажиры с любопытством наблюдали за тощим мужичком в выцветшем солдатском бушлате и стоптанных кирзовых сапогах с наполовину вывернутыми наружу голенищами. Он то ли купил, то ли намеревался продать поросенка. Поросенок был определен в холщовый грязный мешок, затянутый узлом. Жена мужичка была хозяйкой неопытной, неумелой: дыру в мешке залатала красной тряпкой, не вшитой в мешок, а пришитой к нему черными нитками.

Мешок лежал у ног хозяина, который пытался придремнуть. Но придремнуть не удавалось. Время от времени поклажа начинала двигаться, выползала на середину помещения, и зал оглашал истошный визг поросенка. Хозяин вскакивал, хватал мешок, слегка кланяясь публике. Извините, мол, не было заботы. Неестественно горбясь и семеня, он возвращался к дивану, клал мешок на колени, и поросенок тут же затихал, чувствуя человеческое тепло. Но на коленях долго держать поклажу мужичок не мог — видимо, затекали ноги. Хозяин бережно опускал ее на пол, и через некоторое время зал вновь оглашал визг поросенка.

— Соло в мешке. Или сало... — пошутил кто-то.

Хохотнули.

Мне было не до смеха. В городе ни одной знакомой души. Пережить непогоду на станции неразумно: она может продолжаться и день, и два, и неделю. Возвращаться в Казань еще неразумнее: проехал полстраны, чтобы посидеть на вокзале. Да и денег на обратный билет не было. Оставалась почти призрачная надежда на то, что откроется автовокзал, и какой-нибудь разбитной шофер-автобусник решится на рейс хотя бы до ближайшего селения.

Надежда оставалась, но не сбылась. В окне автовокзальчика, освещаемом трепетной восковой свечкой, виднелась женщина, укутанная пуховой шалью. Женщину, видимо, знобило. То и дело поеживаясь, она беспомощно развела руками:

— Какой маршрутный, сынок? Ай, не видишь, что творится? Провода вот буран оборвал. Сижу при лучине, как баба Яга.

Объясняться с ней долго не пришлось. У автостанции остановился тупоносый, формой похожий на ежика автобус, и бодрый голос из кабины спросил:

— Кому до храма Невского? Подброшу...

Раздумывать было некогда. Я вскочил в пустой промерзший салон, сунул полтинник водителю и подумал: и то хорошо, несколько километров не ползти пешком.

Водитель полтинник вернул, приговаривая:

— Возьми, а то высажу. Со своих денег не берем.

Мне было лестно, что причислили к каким-то мифическим своим. Каким — уточнять не стал. Свой — значит, свой.

Алексеевка, районный центр, не многим известен даже в Черноземье, а в дальних краях тем более. Городок скромный, тихий, не именитый и летом даже слегка унылый оттого, что его окружают меловые взгорки, на которых трудно чему-либо укорениться. Суховеи разносят меловую пыль, и город напоминает мельника, обсыпанного мукой. Хотя постное масло пошло по миру отсюда, из Алексеевки. Умудрился получить его почти два века назад крепостной Даниил Бокарев. Угощал соседей, знакомых, торговал на рынке. Те яство оценили за янтарный вид и тонкий аромат, а вот откуда оно родом, так никто не угадал. Сомневались:

— Из подсолнухов, говоришь? Из тех, что в палисадах вроде цветов растут? Не чуди...

Убедить скептиков было просто. Вот она, самодельная маслобойня — смотрите. Через четыре года в Алексеевке был построен первый в России маслобойный завод, а еще через год постное масло удивляло заграничных гурманов.

Впрочем, может быть, именитость родного сельца или города для кого-то и имеет значение. Для меня — не первостепенное.

Алексеевку воспринимал не столько как город, сколько как близкого человека. Как родителей, друзей, учителей. Не важно, какого они роду-племени. Важно, что связан с ними пуповиной. И с пассажирами железнодорожного вокзала, и автодиспетчером, и вот с этим водителем — со всеми. Связан так, что иной раз даже случайные встречи глубокой бороздой межуют твою жизнь надвое: на время до знакомства и на время после него.

Некоторые приятели многозначительно хмыкали, узнав, что учусь в Казанском университете: раз подался в такую даль, значит, было кому присматривать. Говорили: рядом Воронежский и Харьковский университеты, до элитарного МГУ рукой подать, а ты поехал за тридевять земель киселя хлебать. Просто так, прокатиться? Не рассказывай, старик, сказки.

Против такой логики вроде и возразить нечего. Ну, кто ж поверит, что окался в дальнем городе по воле случая? Кто ж поверит, что повлекла в незнакомые края юношеская романтика, а не меркантильный расчет? Впрочем, был и расчет. Месяца за три до экзаменов написал запросы во все университеты страны от Прибалтики до Владивостока, попросив уточнить условия приема на журналистику. Послания одновременно опустил в синий почтовый ящик, кособоко притороченный посреди хутора к электрическому столбу, к которому вели дорожки от каждого дома: почта была единственной надежной связью хуторян с внешним миром.

Недели три спустя меня встретил наш письmonoсец, женщина кустодиевских форм, которую все величали по отчеству — Романовна. Думаю, если бы ее увидел знаменитый художник, обязательно написал бы портрет в крупных цветах шелковой шали. Любая купчиха рядом с ней казалась бы сорным цветком. Правда, подводила походка — утиная, с перевалом. Но нрава она была веселого, бойкого, хотя рано овдовела и одна воспитывала пятерых детей.

— Пляши, — сказала она, — тебе какая-то татарочка из Казани письмо прислала. Что же ты, не успел опериться и сразу нос задрал, на сторону поглядываешь? А подумал, за кого я своих девок буду выдавать? Сам видишь, кровь с молоком. Красавицы. Тебя ждут.

Плясать я не стал, пообещав исполнить любое коленце, когда окончу университет.

— Ага, исполнишь, тогда ищи ветра в поле, — доставая конверт из объемной пухлой сумки, продолжала шутить она. — Ладно, плясать не надо, а вот жениться должен обязательно.

Адрес на конверте был не то чтобы написан, а старательно выведен ровным девичьим почерком. Наверное, отличница писала, подумал. Отличница, может, и не отличница, но то, что на мой запрос отвечал человек ответственный, было видно сразу. Некоторые университеты действительно рядом, а первым ответ пришел из Казани. В иных ответы были стандартные. Чаще всего присылали многократно растиражированные

условия поступления, хотя о них я мог узнать в любом справочнике. Были письма и не на русском языке: наверное, так мне давали понять, что там я не буду успешным абитуриентом. А из Казани ответ на запрос был написан от руки и точно по вопросам, которые меня интересовали.

Так и решил: еду в Казань. Иногородних абитуриентов и тут оказалось немало. У каждого — свои расчеты. Одни искали приключений и впечатлений. На четвертом, последнем, экзамене по иностранному языку девушка из Грузии не проронила ни слова.

— Что же вы молчите? — удивился экзаменатор.

— Я не изучала иностранный язык, — ответила та.

— А зачем было ехать из Грузии в Казань?

— Думала, до иностранного дело не дойдет, — обескураживающе призналась абитуриентка.

Не меньше удивили и дед с внуком из Полтавы. Оба в вышиванках, какие-то просветленные, не от мира сего. Русский и литературу отрок похожего на Тараса Бульбу деда завалил.

— Ты винен, — упрекал «Тарас Бульба» подшефного украинской мовой. — Казав, поидемо в Свердловськ. Чим дали вид центру, тим меньше конкурс. Ни, уперся — Казань та Казань. Нарвалися на пять чоловик на мисце. В армию пидеш, в армию! Дивись, поумнеешь...

Ко мне Казань опять оказалась милостива. Испытания осилил. В одних случаях, как ни странно, выручала неосведомленность.

Готовился к экзаменам, как мне тогда казалось, логично и просто. Справочники для абитуриентов рекомендовали знать лермонтовского «Демона». Слово «знать» понимал буквально: знать не смысл, не сюжет, а текстуально. Ну, знать так знать. Выучил.

Оказалось, переусердствовал. На экзамене по литературе мне потребовалось охарактеризовать фамусовское общество. Что охарактеризовать? Фамусовское общество? Да сколько угодно! Характеризую:

...А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже...

— Пойдите, пойдите, — замахал руками молодой, высокий, медно-цветом лицом и волосами экзаменатор. — Вы что, монолог Чацкого наизусть знаете?

— Все «Горе от ума» знаю. Наизусть.

— Это ваше любимое произведение?

— Я люблю Лермонтова.

— Тогда зачем учили «Горе от ума»?

— В справочнике написано — знать, я и выучил.

— Но там написано, что надо знать и «Евгения Онегина», и «Мцыри», и «Василия Теркина»...

— Я их тоже выучил.

Экзаменатор переглянулся с коллегой, женщиной. Рассмеявшись, они отпустили меня с миром.

Но и без везения не обошлось. Историю принимали у нас мужчина и женщина. Кто попадал к мужчине, выходил довольный: меньше тройки,

и то редкие счастливицы. И мне как раз выпало иметь дело с этой тонкогубой средних лет дамой. На вопросы отвечал бойко. Особенно подробно живописал славные походы Суворова. Она слушала безучастно, попивая время от времени чай, и неожиданно сердито перебила меня:

— Вы в какие-то дебри полезли. А вот простенький вопрос: когда родился Суворов?

Я напомнил, что даже сам Суворов называл разные годы рождения. Какой из них верный, историкам установить не удалось.

— Прощу не ссылаться на историков, не они экзамен сдают, — обрвала меня экзаменаторша. — Какого мнения лично вы? Обоснуйте ответ.

Такая задача мою голову никогда не посещала. Я даже не догадывался, что она может существовать вообще. Судорожно пытаюсь хоть за что-то зацепиться, чтобы аргументировать ответ. В это время дверь широко распахнулась, и в аудиторию впорхнула улыбающаяся молодая особа. Семеня на высоких каблуках, она подошла к экзаменаторше и попросила порекомендовать абитуриента, хорошо знающего отечественную историю, чтобы написать о нем в университетской многотиражке.

— Он перед вами, — коротко бросила тонкогубая дама и поставила мне пятерку.

Материал о моей персоне в многотиражке не появился. А вот от возвращения домой с поля боя битым журналистка меня, наверное, спасла.

Пару-тройку дней после экзаменов надо было подождать решение комиссии. Но возникло чувство, которое, догадываюсь, возникает у всех юнцов деревенской закваски, впервые оказавшихся в большом городе: я соскучился по дому. С этим просыпался и ложился спать. Ностальгия преследовала меня, с каждым днем становилась внятней, острее, непреодолимей. То привидится, будто по стежке устало идет, возвращаясь с работы, мама. На плече деревянные грабли, придерживаемые одной рукой. В другой — узелок. В белом, в горошек, платочке что-то объемное. Закатные лучи солнца делают маму сказочной.

— Мама, — кричу, выбегая навстречу, — не спеши, я сейчас помогу.

Мама останавливается, нагибается, приобнимает меня. Я хватаю узелок и тут же начинаю есть пахнущие свежим коровьим маслом румяные пирожки с яйцом и луком. Я ведь не знаю, что они испечены ранним утром для полевого обеда. Мне ведь неизвестно, что несколько припасено специально для меня.

Один пирожок, другой, третий...

Помогаю.

— Это тебе лисичка передала, помощничек, — говорит мама. — Маме лисичкин подарок хоть один-то оставь.

— Оставляю, оставляю, обязательно оставлю, мама, — обещаю я, а самого так и подмывает запустить руку в теплый узелок и продолжить трапезу, запивая топленым молоком из зеленоватой бутылки. Капли молока падают на рубаху.

Кап... Кап... Кап...

То пригрезится весенний апрельский поздний вечер. Хутор окутан туманом. Дома — таинственные корабли, от которых щупальцами тянутся в плотный, вязкий туман снопы света и вязнут в нем. Вечер глубоко вздохнул и затаил дыхание. С цебарки, так на украинский манер у нас называют колодезное ведро, срываются капли воды и в дрожащей тиши-

не гулко разбиваются о невесту отквуда взъявленный каменный мельничный круг, который положен порожком у сруба. Разбиваются метрах в ста, а слышатся по всему хутору.

Кап... Кап... Кап...

То приснится бешеная скачка на вороном коне с белой звездочкой на лбу. Это не бег, а скорее полет. Ты впился в конские бока голыми ногами, жжался всем существом в остро пахнущий потом круп...

Да что говорить, когда весь земной шар ложится под ноги застоявшегося скакуна. Но вот и колодец, длинные деревянные корыта, вытянутые в одну линию и расположенные ступами одно под другим и наполненные водой. Это водопой. Конь пьет колодезную воду медленно, цедя, принаравливаясь к обжигающему холоду влаги. Время от времени он поднимает голову, оглядывает, прядая ушами, окрестности и недовольно поглядывает на устроивших разборку крикливых воробьев. С мягких шелковистых губ срываются капли и падают в дощатое корыто, образуя круги. Они расплываются, а вместе с ними расплывается и отражение коня.

Кап... Кап... Кап...

Наконец, Вороной напился. Я поглаживаю его по бархатной упругой шее. Конь нетерпеливо перебирает ногами. Мгновение — и вновь ты вдавился в его круп, екающий селезенкой. И вновь синяя сатиновая рубаша надувается на тебе пузырем. И вновь вздымающаяся грива скакуна щечочет лицо. До конюшни от водопоя метров триста — не более. Ты летишь на зависть всем — птицам, облакам, ветру.

Завтра этот полет повторится. Если удастся на время водопоя улизнуть из дома от дел и если смилостивится конюх.

— Ладно, — скажет, — выводи из стойла Вороного, да не лихачь, не лихачь. За бедой не надо гнаться, она сама, не ровен час, найдет. И как потом Настеньке, твоей матери, в глаза смотреть?

Кап... Кап... Кап...

Ностальгия по хутору, воспоминания вроде бы самые обыденные, бытовые однажды подчинили все мое существо. Я собрал вещи и уехал домой...

Дома — переполох. Родители напомнили, что все равно в хуторе мне не жить: не поступлю — осенью заберут в армию.

Подействовало. Армия не пугала. Но учеба позволяла чаще бывать дома. Немедля отправил в Казань телеграмму с оплаченным ответом, попросив сообщить результаты моих стараний. И опять университет оказался пунктуальным. Дня за три до начала учебного года почтальон принесла ответ.

— Держи, — на это раз она была краткой. — Улизнул ты от чар моих девок, улизнул. А так хотелось быть твоей тещей...

Сообщение принимали по телефону: телеграмма была написана от руки на стандартном синем бланке. Связисты спешили уведомить меня о благополучном сдачных экзаменах. Выходило, что в университет я зачислен. Но если своевременно не явлюсь на занятия, студенческого билета мне не видать.

Кое-как собрал документы на паспорт — в сельской местности тогда молодежи паспорта без особой нужды не выдавали. Даже для поездки на экзамены на половине тетрадного листа в клеточку написали справку, согласно которой ее обладатель, такого-то года рождения, проживает в такой-то местности. И сельсоветская печать. Все. Фотографии и других примет моей персоны справка не содержала. Но пригодилась.

Теперь такая справка мне была вроде бы ни к чему — на горизонте маячил паспорт.

— Как ладно все складывается, — думалось, — завтра приеду в Алексеевку, получу паспорт, ночью на поезд, и через сутки, утром, я на первом занятии.

Но скоро сказка сказывается...

В паспортном столе не протолкнуться. Он чем-то действительно походил на ящик стола: маленький, тесный, облезлый. Служилых людей, женщин донимала шумная, нетерпеливая молодежь моего возраста. Тоже, видать, студенты. Дошла очередь и до меня. Документы приняли, но за паспортом приказали явиться недельки через две-три.

Иду в раздумье по улице. Как быть, не знаю. Ехать в Казань, а потом возвращаться через две недели за паспортом, не дело. Да и денег нет. Ожидать паспорт дома — отчислят. Вижу красную вывеску: отдел внутренних дел. Милиция, значит. Решил: найду, может, помогут. Повезло: был обеденный перерыв, и секретарша куда-то отлучилась. А вот начальник отдела, высокий, с пышными усами подполковник, окруженный кипой циркуляров, оказался на месте.

— С чем пожаловали, молодой человек? — спросил, вставая из-за обитого зеленым сукном стола, подполковник с таким видом, будто специально поджидал меня.

Я рассказал о своих паспортных страданиях и протянул телеграмму. Подполковник недолго вчитывался в нее и позвонил в паспортный стол. О том, что это подразделение районной милиции, я тогда не подозревал. Слышу возмущенный женский голос:

— Да он что, этот настырный, ошалел, что ли? Он же не один поступил. Мы тут все в мыле.

Подполковник попросил собеседницу не волноваться и добавил:

— Я пришла с нашим студентом сержанта. Пусть он ему документ оформит. Человеку далеко ехать. Что он будет делать в городе без паспорта?

Тут же явился бравый сержант, подполковник крепко, по-отечески пожал мне руку, сказал в назидание:

— Учись, студент, не подводи земляков.

Через полчаса я был с вождеденным документом...

Теперь часто вспоминаю и подполковника, и многих других знакомых, которые не поскупились на доброту и чуткость. Не встреться они, кто знает, как сложилась бы моя судьба? Вспоминаю Алексеевку. И даже особый язык его жителей. Городок основали черкасы, по-нынешнему — украинцы, которых в родных местах донимало тогда польское пановье. Время с тех пор минуло немало, жизнь в другой среде сказала и на языке. В нем русские слова переплетаются с украинскими: что у них шо, арбуз — кавун, водка — горилка, хороший — гарный, парень — хлопец...

Однажды с хитроватым, себе на уме, земляком приехали мы на рынок. Земляк присмотрелся к товару, глиняным кувшинам, хозяин которых — алексеевец. Торгуются. Покупатель: беру по рублю. Продавец: бери по два. Высокие договаривающиеся стороны получали от своеобразной игры явное удовольствие. Наконец, продавец не выдержал:

— Неужели непонятно: сказал, по два рубля продаю, значит, по два...

И услышал в ответ: а кто вас, хохлов, разберет. У нас петух — значит, петух. А у вас — какой-то пивень. Ты говоришь по два, а я понимаю — по рублю.

Пошлились на полтора рублях.

И то сказать: когда душа тянется к душе — язык не помеха.

Алексеевка приютилась в пойме реки с ласковым умиротворяющим именем Тихая Сосна. Думаю, какой же поэтической натурой, каким лириком был тот мой далекий пращур, который так нежно окрестил реку. Она разрезает город на две части. Один берег пологий. Другой дыбитя меловыми кручами. В них, почти у храма Александра Невского, и берет начало дорога в мои края. Шлях на местном наречии. Или большак. То есть широкая колея без намека на асфальт...

Добирались до храма долго. Поношенный автобусик приседал от напряжения, преодолевая сугробы. Водитель, среднего роста юркий молодой человек в душегрейке, в солдатских галифе и в хромовых сапогах, видать, недавно из армии, лихо управлялся с непослушной баранкой и все интересовался, откуда да куда я держу путь. Назвался Виктором. Узнав, что я студент, завистливо вздохнул, и рванный шрам от левого уха до уголка губ исказил его лицо:

— Повезло тебе, друг. Я вот тоже мечтал в студенты податься. Не сложилось.

Потом, будто извиняясь, добавил:

— Подбросил бы тебя до ближайшего села, да сам видишь, мой мустанг колченог и стар, дорогу не осилит. Может, переждешь непогоду у меня? Кровать найдется, за постой не возьму.

Вежливый отказ прокомментировал с пониманием:

— Вольному воля. Дом есть дом. Святое место!

Водитель пошарил рукой под ногами и протянул полуметровый полый металлический заостренный стержень с приваренной ручкой, а в придачу к нему пачку толстых грубых сигарет «Памир», коробку спичек и еще какую-то засаленную сумку. Я отнекивался: не курю, а металлическая клюка — лишний груз. Но парень был неумолим:

— Бери, студент, тебе говорят. В дороге пригодится. В сумке промасленная ветошь. Приспичит, хоть немного погреешься у костерка.

Остановились. Я уже было собрался выходить, но водитель, окинув меня оценивающим взглядом, удивился:

— Студент, ты не спятил? В такую погоду — в одних трусах! Давай покумекаем, как утеплиться. Иначе пропадешь...

На мне, конечно, были не одни трусы. Но одежда, кроме кроличьей шапки, и впрямь не по погоде.

Ни хромовые сапоги, ни душегрейка водителя мне не подошли. Начали утепляться тем, что было под рукой. Я достал из чемодана выходной костюм и натянул на себя. Из чемодана извлекли длинное, цвета цыпленка, банное махровое полотенце. Мой опекун безопасной бритвой ловко отхватил от него два почти квадратных больших лоскута.

— Это у нас будут портянки, — размышлял он вслух. — Теплые. Согреют.

Ботинки у меня были дешевенькие, кожемитовые, на войлоке. Купил их размера на два больше, чтобы в морозные казанские дни надевать по двое носков, связанных мамой из белой овечьей шерсти. Но, как на грех, они остались в Казани.

Я сел на сиденье, разулся, водитель доведенными до автоматизма движениями запеленал мои ноги в самодельные портянки, одновременно прихватив ими и штанины. Когда обулся, велел пройти по салону,

чтобы побеленца, что ботинки не жмут и я не натру ноги. Оставшийся кусок побеленца он превратил в узкие полоски. Из двух мы сделали обмотки и крепко завязали их. А третьей я подпоясал осеннее, с ворсом, пальто.

— Уже кое-что, — Виктор окинул меня взглядом и расхохотался. — Ну, ты, студент, и чудище! Француз, отступающий по смоленской дороге. Шерами... Шерами... Ладно, бывай... А то переждал бы буран у меня. Вот отвезу рабочих на комбинат, и у печки погреемся, за жизнь поговорим...

Я вновь отказался от приглашения, обнялся с водителем и вывалился из автобуса. Круглые фары машины были направлены на меня, и моя длинная тень в их свете действительно походила на чудище. Она ложилась не на дорогу, а на плотную снежную пелену из поземки и метели. Шофер несколько раз посигналил на прощанье, я помахал ему рукой и провалился в ночь.

И вот я на взгорке. Внизу притаился городок, спеленатый метелью. Редкие огни едва различимы. На станции, как филин, утробно ухает паровоз. Ненастью нет конца. Но там, в городе, его утихомиривают высокие пирамидальные тополя, клены, липы, дома. Там, в городе, мрак смягчают редкие фонари, желтый свет которых застрял в метели и висит шарми сам по себе. А здесь бурану раздолье. Ни земли, ни неба, ни горизонта. Если есть на звете преисподняя, то она сейчас на взгорке. Все быстро и неподвижно одновременно. Сатанинская пляска слетевшейся на шабаш нечистой силы. Мрак, захлебывающийся ветром и снегом.

Жутковато.

На мгновенье я почувствовал себя даже не одиноким — отверженным. Показалось, что кто-то коварный специально отгородил меня от мира этим ветром, этим мраком и этой метелью и теперь со стороны наблюдает, что из этого получится.

Люди по-разному оказываются во власти стихии. Чаще всего случайно. Экзюперы с другом, пилотом, очутились в самом пекле Сахары из-за аварии самолета. По воле обстоятельств, не имея ни воды, ни еды, они вступили в схватку с сорокаградусной жарой и бескрайним раскаленным песком. Несколько дней кружили по барханам. Теряли сознание. Доходили до порога отчаяния, но не переступили его и выбрались-таки из расставленных природой капканов...

У меня выбор был. Меня не подталкивали к нему ни попутчики в поезде, ни пассажиры на вокзале, ни диспетчер автовокзала, ни водитель автобуса. Напротив, отговаривали. Я его сделал добровольно. Какой же я отверженный?

— Добровольно... — шепелявит внутренний голос — А зачем? Ради чего? У тебя что, две жизни, и поэтому одной можно так бездумно рисковать? Посидел бы на вокзале, ничего бы с тобой не случилось. Сидят же другие!

— Заткнись, — отвечаю я этому внутреннему голосу. — Не упрекай понапрасну. Меня дома ждут. Мама ждет, понимаешь. Я ее телеграммой из Казани известил. А когда ждут, надо спешить. Надо не разочаровывать тех, кто ждет. Представь, каково ей поджидать меня в этот ненастный день. Столько всего передумает!

Мама, наверное, сегодня встала рано. Она напечатает моих любимых блинчиков. И, свернув каждый треугольным конвертиком, разместит

блинчики веером на большой сковороде, оросит каждый растопленным коровьим маслом. А затем, накрыв сковороду блюдом, поместит ее в русскую печь на угли — томиться. И будут эти блинчики поджидать меня, пропитываясь маслом и поджариваясь. И будет мама то и дело выглядывать в замерзшее окошко. Знает, что рано. Знает, что могу прийти только поздним вечером, когда все кругом заснет зимним глубоким сном, но только в окнах ее дома будет ярко гореть огонь. И я непременно выйду на него, как на спасительный маяк. Знает... Но будет выглядывать и выглядывать в потаенной материнской надежде: а вдруг... Вдруг подфартит, и кто-нибудь подвезет...

Картины ожидания живо прошли перед глазами, как и предстоящий путь. По этой дороге несчетное число раз ездил я и однажды даже хаживал. Правда, летом. Как-то поймал нас с дружкой на улице бригадир, средних лет мужчина, который был каждый день подшофе.

— Выручайте, мужики. Надо отправить машину с зерном на элеватор в Алексеевку, а не с кем.

Мужиков, одиннадцати лет от роду, уговаривать не пришлось. Нас не просили, а оказывали честь! Грузовик уже был загружен. Поехали. На душе — праздник! Это ж как в сказке — сидеть в обклеенной портретами красавиц из журналов жаркой кабине, наблюдая, как под колеса машины послушно убегает шлах; слушать, как ровно, буднично воркует мотор, постанывает на рытвинах деревянный зеленоватый кузов. А еще — хохотать над веселыми историями, которыми потчует нас чем-то похожий на Крамарова балагур-шофер.

— Представь, — говорит он, обращаясь к моему дружку, — ты с винтовкой стоишь на часах. И вдруг на штык садится воробей. Что будешь делать?

— Объявлю тревогу — неуверенно мямлит растерявшийся дружок.

— Прямо тревогу? — уточнял водитель.

— Да.

— Ха-ха-ха-ха... Ой, мамочка, держи меня! Тревогу, говоришь... Ха-ха-ха... Значит, тревогу? Под трибунал! К едреной матери, под трибунал! — оценивает ответ водитель. И уточняет: — Запомни, парень: если не заснешь на посту, воробей на штык никогда не сядет. А ты — тревогу. Людей с автоматами без причины тревожить никак нельзя — они нервные. А теперь второй вопрос: что главное в танке?

— Броня, — говорит дружок.

— Ну, ты и загнул — броня. Подумай хорошенько.

— Тогда пушка.

— Пушка, да не та, о которой ты думаешь. Главное в танке не пукать. За-дох-нешь-ся, — захохотал водитель.

Под эти шутки, порой пошловатые, незаметно добрались до Алексеевки. На элеваторе тоже долго не задержались. Польстило, что девушка, с важным видом набравшая металлическим щупом в виде полого конуса зерно для каких-то своих целей, поздоровалась с нами, а уходя, пожелала всего доброго. За своих приняла — за взрослых!

Грузовик въехал на территорию элеватора, его взвесили на весах, а затем велели остановить на металлических решетках. Мы открыли борта, и подсвеченные лучами солнца отборные золотистые зерна пшеницы медленно зашуршали через отполированные решета куда-то вниз, в полное загадок хранилище.

Предвкушая продолжение путешествия, деревянными лопатами мы быстро освободили кузов от остатков груза. Но когда выехали с элеватора, водитель вдруг переменялся, стал таким озабоченным, важным и надменным.

— Вот что, орлы? Я поехал домой, — заявил он.

— А мы?

— И вы домой оправляйтесь.

— На чем?

— А на чем придется. Разве бригадир не говорил, что я буду ночевать дома?

Шофер сел в машину, обдавшую нас едкой дорожной пылью, и был таков.

Вечерело. Мы еле-еле выбрались из незнакомого города и, всхлипывая, шли по обочине шляха, проклиная бригадира, шофера и свою неожиданную экскурсию в Алексеевку.

Стоял погожий, ядреный август. Машины, груженные пшеницей и ячменем, неслись в город веселой вереницей. А из Алексеевки, как назло, ни одной. Машины были не наши, колхозные, а из городского автохозяйства. Видимо, водители тоже оставались на ночь дома. Наконец, появился ухоженный ЗИЛ. Голосуем. Мимо. Вторая машина — мимо... Седьмая — мимо! И только восьмая, съехав на обочину, притормозила.

— Куда путь держите, хлопцы? — удивленно посмотрел на нас, зареванных, пожилой водитель в очках и в клетчатой рубашке.

— До-оо-ммм-мой, на хуу-тто-ора, — промямлили мы всхлипывающим дуэтом.

— Почти по пути. Садитесь, подвезу.

Мы юркнули в кабину. Мы всхлипывали и всхлипывали, поглядывая в зеркальце, прикрепленное над лобовым стеклом. Ну и видок у нас был! Вихрасты, чумазы, грязны, как шахтеры, которые только что вышли из забоя.

Наш спаситель стал спрашивать, почему путешествуем одни, босяе и грязные, в вечерний час. Наперебой начали рассказывать о кознях бригадира и шофера-весельчака.

— Что тут скажешь, — вздохнул удрученно спаситель. — Вернусь на автобазу, выясню, кто ж это над пацанвой так пошутковал, и в морду плюну. Нехристи!

Он протянул кулек баранок — румяных, хрустящих, сладких. Мы ели и всю дорогу молчали. Только водитель нет-нет да и вздыхал:

— Нехристи, вот нехристи...

Дома мы были уже в сумеречное время. Шофер завез нас в хутор, почти на ходу высадил и, устало махнув тяжелой рукой, покати́л дальше. Мы даже не успели его поблагодарить.

А вот бригадира через несколько дней отблагодарили. Он ездил на двуколке, запряженной норовистым, в яблоках, конем с каким-то странным, непонятным именем Ландрин. Бригадир всегда куда-то спешил, понукая рысистого коня. Понукал и на этот раз. Лошадь была капризная. Закусив удила, она манерно, картинно выбрасывала на пыльную дорогу тонкие ноги. Колесо соскочило с оси. Лошадь от испуга — на дыбы, двуколка — на бок, седок в дорожную пыль... Это мы тайно выдернули чеку, удерживающую колесо на оси. Наверное, он догадывался, кто помог ему нырнуть в пыльную купель, но никогда и словом не обмолвился. Да, к нашему сожалению, никогда больше и не просил нас сопровождать грузовики с хлебом на элеватор.

Еще раз испытала меня дорога минувшим летом. В автобусе увидел девушку. Глаз в пол-лица. Доверчивый открытый взгляд. Познакомились. Оказалось, попутчица тоже студентка. Приехала домой на каникулы. Зовут Юлей. Выходя из автобуса, я внимательно, призывно посмотрел на нее. Она нехотя отвела взгляд. На губах заплесала улыбка. Машина тронулась, унося студентку в соседнее село, и я решил: сегодня обязательно увидимся.

Мама с удивлением наблюдала, как я выглаживаю темные, в полоску, выходные брюки, белую накрахмаленную рубашку.

— Куда это ты, сынок, лыжи навострил? — поинтересовалась.

— Не лыжи, а туфли, мам. Не навострил, а только вострую. — Я старательно драил остроносые туфли на полувысоком каблуке, наводя глянец куском отслужившего свое воротника из мутона.

— Невестку тебе нашел. Сегодня приведу.

— Ошалел, что ли? — всплеснула руками мама. — Хоть бы фотографию показал.

— Смотри... — Я достал из портфеля портрет популярной певицы. — Нравится?

Портреты артистов, эстрадных певиц и певцов можно было купить в любом городском газетном киоске. Я накопил их целую коллекцию. Мама певицу не видела: в хутор электричество еще не подвели, и телевизоров ни у кого, естественно, не было. Но по радио слушала часто. Она с заметным интересом рассматривала портрет. Сказала:

— Руби дерево по себе. Это — не твое.

— Что — не береза?

— Может, и береза. Симпатичная. Но старше тебя. И городская, лощеная. Посмотрит, как живем, на второй день манатки соберет.

— Не остановишь?

— Тогда поздно останавливать. И не мое это дело. Я останавливаю сейчас. Самое время. — Мама подала мне фотографию так, как подают обычно неприятную, неопрятную вещицу.

— Ладно, мам, — успокаивал я ее, уходя. — Все будет хорошо. Не переживай.

— Что переживать? Не мне сыскал, себе. А мне на старости кружку воды подаст — и ладно.

— Подаст, подаст, мам. Обещаю.

— Ты, обещалкин, долго-то не загуливайся. Не к невесте на побывку приехал. А дома появляешься как молодой месяц, — бросила недовольно вслед.

В соседнем селе я оказался под вечер. Выяснилось, что других Юль, кроме Юли-студентки, здесь нет. Первый встречный, паренек лет восьми, конопатый и загорелый, вызвался проводить до места. Я шел за провожатым и думал, с чего бы начать с девушкой легкой, ни к чему не обязывающий разговор, скрывающий смущение и неловкость. Ничего не придумал. Во дворе крытого черепицей дома, приютившегося у палисадника с разросшимися кустами сирени, увидел Юлю. Она выходила из сада с большой миской крупной темной вишни. Удивилась:

— Ты? Как здесь оказался? А говорил — хуторской.

— Приехал на попутной машине.

— К кому?

— К тебе?

— Жениться собрался?

- Да.
- Прямо сейчас?
- Часа через два-три.
- Почему не сейчас?

— Потому что на свадьбе целуются. А я целоваться не умею. Часа через два-три стемнеет. Ты меня научишь. Вот тогда и поженимся.

Юля смутилась и, чтобы скрыть смущение, бросила:

— Посиди, нецелованный ухажер, на лавочке, позабавься вишней. А я на голове порядок наведу и сходим в кино. У нас «Три тополя на Плющике» показывают.

И вот мы не спеша следуем по нескончаемо длинной зигзагообразной сельской улице к клубу. Моя персона Юлю смущает. Она идет, приотстав и скрестив на груди руки. Я держу руки за спиной, обхватив одной запястью другой. Прохожие, как водится в сельской местности, здороваются.

— Видишь, Юля, за своего признают, — пытаюсь шуткой завязать разговор.

— Они-то признали, а я?

— Все на тебя засматриваются. Что за красавица в туфлях-лодочках, в платье с белыми клиновидными вставками и игривым пояском, с тугой длинной косой? Ну и на меня, конечно, обращают внимание. Видят, парень хоть куда. Поэтому и признают за своего. И ты признаешь.

— Не придется разочаровываться?

— Надо сначала очароваться.

— Вот именно...

Так мы дошли до клуба. Клуб находился рядом с церковью, лишенной крестов. Помещение, приспособленное под очаг культуры с дощатой кинобудкой, тоже когда-то, видимо, относилось к церкви. Кирпичное здание старинной постройки с фигурными наличниками было оштукатурено, но кое-где штукатурка обвалилась, и клуб выглядел неряшливо.

— Нам повезло. Сейчас в церкви и обвенчаемся, — пытался остерить я.

Ответа не последовало.

Фильм, который смотрел несколько раз, меня особо не интересовал. Я наблюдал за Юлей. Отодвинувшись от меня, она сидела на самом краешке кресла, подавшись вперед. Ни дать, ни взять — воробышек на колышке. Все, что происходило на экране, ее трогало. То съезжится, то вздрогнет, то горестно вздохнет, то улыбнется. Было видно, что она явно симпатизирует главной героине, которую играла Доронина, и переживает за нее. Казалось, что киношный сюжет она воспринимает как реальную жизнь, которая разворачивается у нее на глазах, и все в этой жизни, в этом сюжете заставляло переживать.

Возвращались по уже отошедшему ко сну селу, тоже не спеша. В редких окнах горел свет. Мы не то чтобы спорили, обсуждая фильм, а бережно подбирая слова, дискутировали. Я считал его приторным, мелодраматичным, говорил, что рассчитан он на женщин, и главная цель режиссера — прослезить зрителя.

— А разве у фильма может быть иная цель, нежели взбодрить душу? — спросила Юля. — Все, что душу не трогает, не искусство. Нет, мне фильм нравится. Он ведь и про нас.

— С какой стати?

— Ты вот явился. А кто тебя просил? Может, я собралась замуж.

— Коль собралась, быстрее поженимся...

Подожли к ее дому. Я было хотел предложить присесть на скамейку у палисадника, как вдруг услышал:

— Юля, пора спать. Тебе рано вставать.

— Мама... — прошептала Юля. — Вот все и разрешилось. Пока.

— Что — все? Завтра увидимся?

— Утром уезжаю в Воронеж. Когда возвращусь, не знаю.

— И в Воронеже найду.

— Поищи, а вдруг найдешь.

Я чувствовал себя в роли коня, которого осадили на скаку. Но размышлять было недосуг. Зная, что на попутную машину поздней ночью рассчитывать бесполезно и полтора десятка километров придется топтать пешком, я заспешил домой.

Из ночного села с улицами вразброс выбирался долго. Огни редких фонарей только вводили в заблуждение. Натыкался то на заборы, то на дворовые постройки, то оказывался в огородах. За околицей облегченно вздохнул, но оказалось, что приключения только начинались. Первые капли дождя порхнули на лицо раз, другой, третий. А затем меня накрыл настоящий ливень — шумный, спорый, густой.

Разыгралась гроза. Грозы в степи в летнюю пору, да еще ночью, сердитые, злые, вселенского масштаба. Гроза будто гневалась на кого-то невидимого во весь размах. А просторы-то вон какие неоглядные. Я разулся, связав ботинки шнурками, перекинул их через плечо, подвернул до колен брюки и по чавкающему чернозему, то и дело скользя, заспешил домой. Дождь и гром меня подгоняли. Молния неистовствовала. Она заходила то справа, то слева, то распускала щупальца прямо над головой, то забегала вперед, кроша темноту в осколки луж. Иногда, оглядываясь назад, я видел распятую молнией глянцевитую дорогу, убежавшую к селу. Я скользил, падал, но повторял и повторял:

— Юля, я тебя найду. Обязательно найду. Обязательно...

Домой явился под утро — промокший, грязный, усталый. Кое-как обмылся водой из рукомойника, оставляя мутные лужи на полу, и нырнул в кровать. Сквозь сон донеслось мамино причитание:

— Нагулялся, жених! Бормочет про какую-то Юлю. Уж не простыл ли? Ох, молодость, молодость... Глупа, да сладка...

Растревоженная память разбудила и душу. Мы в этом мире не сирые скитальцы-паломники! Мы пришли, чтобы поклониться жизни и продолжить ее. Поэтому зов любви всегда памятен. На тебя обратили внимание. Тебя выделили из толпы. Тебе готовы доверить самое сокровенное — душу. Как остаться равнодушным?

Бывает, идешь по улице и вдруг ловишь брошенный как бы вскользь девичий взгляд. Окатила тебя призывным взором и скрылась в толпе. А ты долго носишь в себе ощущение этого любопытства и неосознанного призыва к любви, как драгоценность. Так и с Юлией. Она уехала и как в воду канула. Кто знает, может быть, и специально. Но разве забудешь несколько часов, проведенных вместе? Разве забудешь грозовую ночь, когда мне вдруг показалось, что любовь — как молния, над которой ты не властен?..

...Наконец, я пришел в себя. Стал прикидывать, как быть дальше. Я оказался рыцарем на распутье. Без вещего камня было ясно: ни налево, ни направо мне сбиваться нельзя. Замерзнуть, может, и не замерзну, но домой точно не попаду. Буран, конечно, не цунами, не землетрясение, не

лавины, когда счет идет на мгновения и от тебя почти ничего не зависит. Но и вокруг меня приплясывал тоже непростой противник. Он неподкупен, несговорчив, немилостив. Я сделал только первый шаг, только занес ногу, чтобы ступить на ринг схватки. У меня есть время рассчитать силы, прикинуть тактику этой борьбы.

Хлесткий пронизывающий ветер, свивающий снег в жгуты, конечно, не подарок. Но он, северо-западный, дует оттуда, куда уходит дорога. Поэтому и ветер, и метель должны быть всегда встречными. Это плохо, когда ветер все время бросает тебе в лицо едкий снег. Но это и хорошо: стоит чуть-чуть сбиться с пути — сразу почувствую.

И ночной мрак не благо. Но уже хорошо, что мрак не будет преследовать меня весь путь. Утро зреет, вот-вот хотя бы на немного и хотя бы на некоторое время станет светлее. Значит, сейчас нужно особо не торопиться, экономить силы и приналечь на дорогу тогда, когда темень отступит. Так будет вернее.

Шлях. Пожалуй, только летом, поздней весной или ранней осенью на него можно положиться. В остальное время жди каверз. В дождливую пору благодатный в наших местах чернозем превращается в липкое, тяжелое месиво, обволакивающее даже гусеницы тракторов так, что они начинают задыхаться от непосильной ноши. Зимой не лучше. Не чистить дорогу нельзя, а расчистка тоже не панацея. Бульдозеры раздвигают снег по сторонам, на обочину. Образовывается тоннель с карманами, в которые заезжают трактора, машины, сани, пропускная встречный транспорт. Чем чаще идет снег, тем чаще работают бульдозеры, и со временем, к весне, шлях превращался в нескончаемо длинный проложенный в сугробе коридор.

Теперь коридор занесло. Над полем приподнялся удавом снежный хребет. По его краям кое-где холмики вздыбившегося почерневшего снега, сдвинутого тракторами. Они тоже мой ориентир. Надо идти ближе к краю дороги и постоянно высматривать эти глыбы.

Я приладил мешочек с паклей к чемодану, подвел уши шапки под подбородок, завязав петельки тугим узлом, поднял воротник пальто и сделал самый трудный — первый шаг, оставив время сомнений и раздумий позади. Теперь раздумывать некогда. Надо идти и идти. В движении — мое спасение.

Снег бывает разным. Чаще всего он идет во время разгулявшихся циклонов, когда хозяйничает оттепель. Землю окутывают крупные, влажные хлопья. Теряя влагу, они уплотняются, образуя прочный наст. Идти по такому снегу относительно легко. Но бывают и морозные, снежные ветреные дни. Тогда снег как пух. Он лежит пышной периной и, сделав шаг, ты проваливаешься в снежный намет по колено. Ноги то расходятся в невидимых колеях, проделанных в погожие дни транспортом, то оказываются между снежными глыбами, то наталкиваются на невидимые бугры. Каждый последующий шаг дается труднее, чем предыдущий. Но каждое движение приближает меня к дому, к маме. Каждое усилие — это маленькая победа.

Не знаю, сколько миновало времени. Я понял, что иду слишком медленно. По моим прикидкам выходило: чтобы одолеть более полусотни километров часов за двенадцать, надо проходить километров пять в час — десять тысяч шагов. Оказалось — такой темп мне не по силам. Надо делать хотя бы пять тысяч шагов и сверять свой счет с часами. Прошагаю меньше — немного ускорю темп. Сделаю больше — попридержу аллюр.

Иду. Считаю шаги. И тоже понимаю, что занятие это бесполезное. Ведь еще нужно следить за ветром, за обочинными снежными горами, моими ориентирами. Нужно протирать от снега очки, обходить сугробы и иногда тереть руками щеки, чтобы не обморозить. Нужно вытаскивать ноги из ловушек, в которые они то и дело попадают. До счета ли тут, если очередной шаг делаешь на последнем выдохе? Поэтому со счета то и дело сбиваюсь. Начинаю считать заново и вновь сбиваюсь. Но считаю. Главное — занять чем-нибудь голову. Главное — как бы физически фиксировать продвижение вперед. И эта неосознанная уловка отодвигает в сторону притаившийся страх. Временами я останавливаюсь, передыхая. Стоять долго нельзя. Все тело взмокло, покраснели ноги — простужусь.

Слегка не то чтобы посветлело — посерело. К несказанной радости на обочине шляха увидел несколько рядов невысоких деревьев. Точнее, их смутные очертания, похожие на неясные тени. Понял, что я у Иловки, села, которое должно быть где-то невдалеке, слева. Посмотрел на часы: зеленоватые фосфоресцирующие стрелки застыли у одиннадцати утра. Выходило, что на десять километров мне потребовалось больше трех часов.

— Для начала неплохо, — похвалил себя. — Теперь идти будет веселее.

Иловка — село большое, старинное. Дома просторные, улицы широкие, ухоженные. Над селом в ясные дни можно видеть горделивый золоченый купол церкви, которая дарит округе умиротворяющий благовест. По обеим сторонам дорогу стерегут не тщедушные кустики, а сортовые яблони. Весной стволы белят известью, оберегая от солнечных ожогов, и в пору цветения яблони походят на девушек в беленьких фартуках, в украинских вышиванках, собравшихся на гульбище в ожидании кавалеров.

Для моих земляков зажиточная, степенная Иловка — воплощение рая. Слышал восхищения: вот где настоящее солнце всходит, а не в наших аулах. Умные люди свили в Иловке гнездо. А наши предки забрались к черту на кулички. Глухомань. Периферия. Сами всю жизнь хлебали лихо полным черпаком, нам досталось и детям нашим никуда не деться.

Была в этих рассуждениях горькая правда. Периферия — как круги на воде. Каждый круг от центра можно считать периферией. И измерения у нее разные: на Севере одни, на Кавказе другие, в Черноземье третьи. А внутри области своя глубинка. Дальний район — периферия. Удаленные от районного центра села — периферия в квадрате. Дальние от центров сельских территорий хутора — совсем глухомань. Чем дальше от центра — столицы ли, областных или районных городов — тем дальше от нормальных дорог, приличной медицины, налаженного быта.

Наши предки выбрали периферию не потому, что не хватало крестьянской сметки. Они-то как раз и руководствовались ею. Хутора не у нас появились. Британские фермы, американские ранчо, немецкие фольварки, прибалтийские мызы, сибирские заимки — это все разные названия, по сути, одного типа поселений — хуторов. То есть малых населенных пунктов. Они могли состоять из одного или нескольких хозяйств, как в Прибалтике, а могли, если вспомнить хутор Татарский из «Тихого Дона» Шолохова, разрастаться до размеров села, станицы, формально называться хутором.

Мне доводилось читать, что само это слово произошло от какого-то дальнего заморского, означающего «часть округа». Не знаю, не знаю... По мне, хутор берет начало от слова «кут», произносимого с южнорусским акцентом, в котором звуки «г» и «к» смягчены. Поэтому слово «кут» звучало как «хут» — дальний угол, потом трансформировалось постепенно в хутор. По крайней мере, с бытовой точки зрения оно объясняет причину появления этих поселений. Тем более что в наших краях сохранились названия, в которых слово «кут» является его главной составной частью. Например, хутор Красный Кут — красный угол. Вблизи городов, станиц, сел постепенно не осталось свободной земли для хлебопашества. На нее можно было рассчитывать только в глухих, отдаленных местах, именно в кутах. Туда и в царские, и в советские времена направляли свои стопы рисковые люди — за землей, а значит — и за счастьем, за волей. Царские времена оставили у нас хутора Старый Редкодуб, Поросячий, Япринцев Редкодуб, Ближние Россошки, Дальние Россошки... Поселения в четыре десятка дворов не доросли до сел, но давно переросли хутора-однодворки.

Часть хуторов была образована в первые годы советской власти, когда от лозунгового обещания «Землю — крестьянам!» она перешла к делу. Но чем больше было село и чем меньше пашни вокруг него, тем меньше надел доставался каждой семье. А в глубинке, на периферии, пригодные для хлебопашества площади пустовали, превратившись в первозданную степь. Потому что землю у «мироедов» отобрали, а обихаживать ее оказалось некому. В воронежской Репьевке до сих пор здравствует усадьба купцов Мамкиных. Судя по всему, было в самом рядовом семействе несколько предприимчивых братьев, которым со временем удалось разбогатеть. Один из них, Павел Семенович, владел тремя тысячами десятин земли. Время никак не сотрет с лица земли остатки его поместья в наших местах, у небольшой, спрятанной в логу рощицы. Вот об этих десятинах, о десятинах других помещиков и вспомнили. Из властного портфеля достали пряник: хотите больше земли — добро пожаловать на периферию. Там ее немеряно.

И потянулись люди из ближних и дальних мест к даром раздаваемому богатству. Обозы шли вереницей. Гнали коров и лошадей, везли кур, гусей и уток, домашний скарб, старые разобранные по бревнышку избы и сараи. Ехали под зиму целыми семьями, чтобы с наступлением весны облагораживать поля. Не мешкая, копали колодцы, строили мельницы, которые оберегали достаток хуторян. Первое время ютились в землянках. Старожилы рассказывали, что в тот переселенческий год зима выдалась снежной, а весна — дружной. Вешние воды едва не погубили всех новоселов, затопив землянки.

Основывали не села, а именно хутора, давая им звучные названия: Новый путь, Черемухово, Веселый, Садовый, Первомайский. А моему хутору присвоили имя всесоюзного старосты — Калинин. Сами эти названия доказывают: земляки ехали в глубинку с охотцей, веря в счастливую ее звезду.

Хутор тем был хорош, что вышел со двора — и вот он, твой надел. Выпасы для лошадей, коров и другой живности тоже рядом. Занимайся хлебопашеством без отрыва от домашних забот.

Дорожные скитания, отдаленность воспринимались, конечно, как зло. Но на чаше весов земля-кормилица перевешивала и бездорожье, и другие неудобства, вместе взятые.

Вскоре, однако, грянула коллективизация. В хуторе образовали колхоз. Землю, скотину, тягло — все обобществили. Жили небедно. Председателя выбрали — всем председателям председатель. Наделили его лошадкой, чтобы поля объезжал, в район наведывался. Но тот лошадку берег. Рассвет только-только забрезжит, а он уже все закоулки обошел, лично убедившись, где и что нужно поправить. Помнят о нем до сих пор, хотя сам сгинул в чужих краях, эвакуируя колхозный скот и попав под бомбежку. Сгинул в чужих краях и его единственный сын, не вернувшийся с фронта.

Но помнят и о том, как разбегались с колхозных ферм по домам лошади, как из глаз коней, оказавшихся в общественных загонах, буквально текли слезы. Горечь у переселенцев осталась еще и вот почему: землю-то фактически отобрали, а неудобства... Куда ж им деться-то, неудобствам? В очереди на блага цивилизации периферия всегда оказывается последней. Получалось так. Выходят на старт два бегуна. Во всем они равны: в опыте, в мастерстве, в устремленности к победе. Только одному решили подвесить дополнительный груз. Еще не факт, что обремененный этим грузом атлет придет к финишу последним. Но, чтобы победить, ему ох как надо постараться. Появившийся на свет в отдаленном хуторке младенец рождался с этим самым грузом бытовой неустроенности и всю жизнь волочил его за собой, как арестант в давние времена колоду.

Допустим, если бы я жил в селе, то, по крайней мере, ходил бы в школу, которая под боком. А моя восьмилетка была в трех километрах, в соседнем хуторе. Каждый день, в любую погоду — невольный шестикилометровый кросс. Девятый и десятый классы оканчивал в школе за десять верст. Выходит, что за аттестатом зрелости я за десять лет прошагал от Москвы до Курил. Да и сейчас иду по нескончаемым сугробам по той же причине.

Почему Иловка — село зажиточное? Да потому, говорят старожилы, что она у Христа за пазухой. Пазуха — город. Люди, особенно молодые, заняты на городских предприятиях, а размеренная работа на них оплачивается лучше, чем едва ли не суточные бдения на колхозных полях. И второй резон. Лишний мешок картошки оказался, ты его тут же на рынок. Пусть хоть копейка — но твоя. Из наших хуторов с мешком картошки на рынок не поедешь. Порой за день не доберешься. Да и невыгодно.

Вот тебе и колоды. Их волочили все хуторяне. Волочила их и вся наша семья.

Бабушка в первую очередь. В детстве я воспринимал всех бабушек как особые существа рода человеческого. Родители и дети рождаются, взрослеют, стареют. И только бабушки всегда оставались бабушками. Такая у них планида. Поэтому они мудры, несуетливы, добродушны. И поэтому воспитывают внуков.

Судьба была к моей бабушке немилосердна. Гражданская война оставила ее без мужа. На руках двое маленьких детей — мама и ее старшая сестра. Приглынулась худощавому односельчанину. Он вдовствовал, растил сына маминых лет. Сошлись. Однако свекровь с первого дня невзлюбила и ее, и всю ее молодую поросль. Закрывала на замок провизию, даже в дом не пускала, и молодые жили в сарае. Кричала на все село:

— Вон с моего подворья со щенятами! Охмурила мужика, стерва!

Поэтому молодая семья с радостью откликнулась на призыв властей поискать счастья на хуторах.

Муж бабушки участвовал в Первой мировой войне, покалеченный вернулся с фронта с Георгиями и в шитом золотом мундире, за что прозвали его Золотым. Постепенно кличка прилипла ко всему подворью — Золотые. Она была, конечно, звонкой, но далекой от реальности. В семье даже обыкновенный глиняный горшок был редкостью, а сусеки для зерна в виде объемных греческих амфор сделали из плотно стянутых толстых соломенных жгутов. Только сердцевина дома, маленькая комнатенка с печкой и лежанками, была срублена из амбара, который смилоствивилась выделить свекровь. Все остальное — сени, кладовая, сарай — по сути, плетни, обмазанные глиной и крытые соломой. Выходило, что, называя Золотыми, над семьей как бы подтрунивали.

Хотя, вполне возможно, что это подтрунивание кажущееся. А кличка прилипла к подворью еще и потому, что вся семья была ретива на работу. Сам Золотой за день косой-литовкой одолевал гектар хлебов. Под стать ему была и бабушка — Золотиха. Почти каждый год она была беременна и всех детей рожала прямо в поле, не отрываясь от крестьянских хлопот. Правда, выжили только двое.

Достаток заглянул в дом сквознячком. Лет через десять Золотой ушел к молодке. То ли потому, что золотые горы, обещанные хуторянам властью, оказались призрачными, то ли потому, что суженый снюхался, как выражалась бабушка, с молодой на колхозных работах, но колхозной жизни она сторонилась и в колхоз так и не вступила. От тяжелой работы с молодых лет у бабушки на щиколотке открылась рана. По два-три раза в день она засыпала ее толчеными таблетками стрептоцида, обертывала бинтом, а сверху — тряпьем, чтобы не промочить ногу. Ходила прихрамывая, сгорбившись, с клюкой. Но все хлопоты по дому лежали на ней. Посиделок не любила, была неразговорчивой.

Пережитое оставило в ее глазах под густыми, шалашиками, бровями, затаенную тревогу, не исчезающую даже в светлые дни. Тревогу не за себя. За нас. Самым браным выражением у нее была фраза — «расстрелять твою душу». Бывало, набедокуришь и слышишь укоризненное: «Ах, расстрелять твою душу, что же ты наделал!» Похоже, наличие души, то есть доброты, порядочности, совестливости было для бабушки самым главным мерилом достоинства человека.

Старшая дочь бабушки быстро вышла замуж, и долгое время опорой семьи была мама. В хуторке нашем жили три Насти. Одну высокую, породную, но норовистую звали с нескрываемой долей неприязни — Настюхой. Другую, чрезмерно полную, краснощекую, ворчливую и вовсе называли по подворью — Кудиниха. И лишь мою маму величали ласково — Настенька. Может быть, только в этом ей и посчастливилось. А вообще счастье обходило маму, как и бабушку, стороной.

На второй год войны, перед немецкой оккупацией, маму и еще несколько молодых сверстниц эвакуировали. Оказались в подмосковной Шатуре. Выполняла изматывающую мужскую работу, добывали для московских электростанций торф. Мама была ладная, статная, с аккуратным носиком греческого профиля. Появились кавалеры. Предлагали руку и сердце. Но как только дошло известие, что наши места освобождены, она немедленно вернулась домой.

Оккупанты хозяйничали здесь недолго. Рассказывают, появились они в хуторке на мотоциклах жарким июльским днем. Беззаботно сбросили амуницию у колодца, под гортанные стенания облили себя холодной водой и разбежались по дворам. Раздались автоматные очереди. Так фаши-

сты добывали на обед «дичь» — кур, гусей, уток. Добывали каждый день. Не стало дичи, взялись за свиней, коров, коз. Отступая, две дубовые бочки сала и мяса облили бензином и подожгли.

У бабушки на дворе не осталось даже кур. Пришлось начинать жизнь заново. В семье было единственное богатство — отрез материи, которым маму наградили в Шатуре. Решили богатеть с него. Мама была легкой на подъем. Встала ранним утром — и в Алексеевку с сокровищем, а вернулась поздно ночью с сокровищем еще более ценным — рябенькой курочкой с небольшим красноватым гребешком. Курочка-ряба, конечно, не несла золотые яйца. Но и ее желтоватые яички в голодное время были на вес золота. Правда, лакомились ими изредка. Первым делом завели цыплят. Потом начали собирать яйца на продажу. Продавала их на городском рынке тоже, естественно, мама. В конце августа она вновь пошла в Алексеевку с курицей-рябой и ее дарами, а вернулась оттуда уже с маленькой, игривой козочкой. Радости не было предела. На нее чуть ли не молились. И только тогда, когда козочка начала давать молоко, почувствовали, что жизнь в доме входит в мирные берега.

Весть о мире в хутор тоже принесла мама. Однажды дома кончился керосин. Мама взяла проржавленный бидончик — и в путь, в Алексеевку. Часто вспоминала: «Подошла к пригороду, смотрю с крутояра, а город весь кумачом подернулся. Я — до ближайшего дома. Спрашиваю у худенькой, в чем душа, бабушки, что случилось? А она в ответ: «Радость великая, деточка. Войне конец!» Какой тут керосин! Летела домой, не чувствуя ног. И хоть поздно было, стучалась в каждый дом. Смеялись захлеб, рыдали и обнимались до судорог».

В военные годы ее назначили почтальоном. Почта находилась в селе за десяток километров. А все, что получала, надо было разнести по хуторам. В день выходило не меньше 30 верст. Но разве это было расстоянием для мамы? Так, семечки...

Самое трудное — вручать почтовый треугольник. Получит солдатка недобрую весть и зайдет, оседая, истощным вдовьим криком. И ее не бросишь. Надо успокоить, уговорить, привести в чувство. Вспоминала: одной женщине приходили скорбные письма каждый месяц. Сначала не стало мужа. Молчала, надвинув черный платок на глаза. Потом не стало старшего сына, потом среднего, потом война подобралась и к младшему. Только тогда, ловя воздух ртом, она медленно опустилась на землю. Мама для таких случаев приберегала нашатырный спирт. Но женщина упорно отводила руку с нашатырем в сторону, приговаривая: «Ради кого теперь жить... Ради кого?»

Вскоре мама поняла: так ее надолго не хватит. Начала, как выражалась, мошенничать. В уловленный час просила людей собраться у какого-нибудь дома. Мол, расскажу о новостях с фронта. А после раздавала треугольники. На миру самая недобрая весть воспринималась спокойнее. Мир помогал привести в чувство всех, на кого надвинулась неотвратимая беда.

Иногда она заканчивала воспоминания словами: «Ах, если бы все можно было поправить, что натворила война, я бы пешком полмира обошла. Да разве это в наших силах?»

— Мама, — говорил я, поглаживая ее, — вы не смогли — мы сможем. — Хотя знал: далеко не все сможем.

Вспомнилась мне в этой снежной завихрухе частушка. Ее пели, собравшись в кружок, молодые женщины:

Ох, проклятая война,
Ты меня обидела —
Ты заставила любить,
Кого я ненавидела!

Только со временем понял, какой в ней полный отчаяния и драматизма смысл. Половине хуторян, ушедших на фронт, не суждено было вернуться домой. Многие из тех, кто вернулся, калеки. А девичьи сердца жаждут ухаживаний, ласки, любви. Но не всем довелось даже пригубить эту радостную, хмельную чашу. Потому что на десять девчонок выпадало не девять, как в песне, а самое большее пяток поизносившихся кавалеров. И действительно приходилось любить и того, кто вызывал неприязнь. Одним удавалось создать семью и смириться с этой незавидной участью. А других и она миновала. Хутор расцвел белесыми головками малышни-безотцовщины. У двух третей пацанов в метриках вымышленные бати.

Некогда популярный писатель, родившийся перед войной, заметил, что у его поколения не может быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. А у нашего поколения тоже не могло быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов знали. Поднимали ребят на ноги женщины, не рассчитывая на чью-либо помощь. И вот что удивительно: не оказалось среди этой ребятни моего круга никого, кому можно было бы адресовать бранное, судное слово.

А трудности сыпались как из рога изобилия даже там, где их не должно было быть.

После войны, лет пять спустя, мама решила обзавестись собственным хозяйством. Купила домик, маленький, тощенький, неухоженный. Сосед посоветовал:

— Настенка, продавец — человек ненадежный. Не ровен час — обманет. Возьми расписку, что деньги отдала.

Расписку взяла, хотя и думала, что бумажка эта никому не нужна — свои же люди, хуторяне. Через некоторое время — повестка в районный суд. Пошла.

— Меня будто оглушили. Ничего не помню. Как сквозь сон слышу в суде обвинения продавца. Она, дескать, мошенница, за дом деньги не заплатила. Предоставили слово мне. Подхожу к судье, плача, и протягиваю расписку. Минут через пять объявляют: иск отклонен, законов я не нарушала... — рассказывала мама и подводила итог: — Мир, сынок, не без червоточинок. Но ты придержишься добрых людей. Гниль сама себя обрекает. А доброта — оберег от одиночества...

Выпали вериги верст и на долю ее сводного брата, моего дяди. Звали его Александром, но по имени к нему редко кто обращался. Золотой да Золотой. А по молодости еще и «Золотой партизан». Фашисты оккупировали хутор летом. Хлеба еще были не сжаты, и новые хозяева немедленно заставили хуторян убирать поля. Дядя с приятелем тут и подняли стрельбу из автоматов, которые подобрали в лесополосе у дороги. Стреляли не в людей, а выше. Но, дескать, хотели показать: вот, что ожидает тех, кто работает на фашистов.

Сосед, почтенных лет, почти слепой старик, у которого двое сыновей были на фронте и который не сотрудничал с немцами, но симпатизировал им, этих партизан вычислил и посадил в амбар. Амбар покоился на

вбитых в землю дубовых кряжах. Между толстым дощатым полом и землей образовалась пустота, продуваемая ветрами. Ребята нашли в амбаре зуб от бороны, подняли доски — и ищи ветра в поле. Сошло. Сосед, наверное, одумавшись, не стал искать их, да и оккупантам не доложил. Но с тех пор одногодков величали не иначе, как партизаны.

На второй год войны, в начале 1943 года, сразу после освобождения хутора, восемнадцатилетний дядя ушел добровольно на фронт. Боялся, что война обойдется без него. Мама было пошла провожать братца, но тот отправил ее домой: дескать, нечего нюни разводить, и так скоро вернется с победой. Вернулся он действительно быстро. Без победы. Военскую часть из местных хлопцев собирали спешно. Обучать и основательно вооружать ее было, видимо, некогда. Западнее Белгорода, под сельцом с причудливым названием Стригуны, это войско приняло бой и рассыпалось, как карточный домик. Новобранцы разбрелись по всей округе, не зная, что делать. Какой-то седой генерал, проезжавший на трофейном «Виллисе» и увидевший растерянных ребят, сказал: «Сынки, идите по домам. Без вас разберемся».

Пошел домой и мой дядя. Но где-то на полпути его встретили два пожилых вооруженных мужика в полушубках.

— Ага, с фронта драпаешь, да еще в новых сапогах. Разувайся, — потребовали.

— Не драпаю. Нас отпустили.

— С фронта отпускают только на тот свет. Скидай сапоги. Не то ... — один незнакомец передернул затвор винтовки.

С сапогами пришлось расстаться. Километров сто шел по мартовскому подтаявшему снегу в перевязанных бечевой портянках. Дома заболел. Болел долго, трудно, впадая в забытие. Еле выкарабкался, но всю жизнь надрывно кашлял. На фронт его больше не направляли. Призвали восстанавливать Сталинград. Снова провожала его мама. Теперь он просил побыть с ним подольше. В Сталинграде столярничал, плотничал, крыл крыши.

Вернулся домой вот по этой дороге только в 1946 году. Но на хуторе не задержался. Летом, в жатву, обоз с зерном нового урожая отправили на хлебоприемный пункт. Старшим обоза назначили дядю. Было голодно. Решили хуторяне прихватить немного зерна. Брели мешки за углы, высыпали зерно в бурт, а что оставалось в углах — было добычей. На выезде из приемного пункта тару взвесили. Она оказалась подозрительно тяжеловатой. Из мешков высыпали улов. Набралось семь килограммов пшеницы. Следовательно был категоричен: возьмиш вину на себя, как старший обоза, скостят срок. Не возьмиш, значит, выйдет, что вы вступили в преступный сговор. Всех посадят на нары, и света белого не увидите.

Вину взял на себя, а с ней и семь лет строгого режима. Конечно, сыграла свою роль угроза следователя. Но постепенно, подспудно выяснилась еще одна очень веская причина решения моего родственника. В обозе тогда ехала молодая хуторянка. Красавица. Сирота. Растила она двух братьев-погодков, бедовых и ненасытных. Они просыпались и ложились спать с мыслью, что бы такое съесть. Впрочем, кого из взрослых и детей в то голодное послевоенное время эта мысль не посещала ежечасно? У сирот была корова. Девушка, чтобы хоть как-то растянуть еду на день, разливала молоко по кувшинам, опускала их в обитый жестью сундук и закрывала крышку огромным амбарным замком. Но и это не помогало. Однажды открывает сундук, а в кувшинах ни капли молока. Оказалось,

братья нашли длинные соломинки, просунули через щель в крышке и выпили все содержимое кувшинов.

Если бы следователь приписал компании групповое воровство, в тюрьму отправилась бы и деревенская красавица, оставив братцев скитаться по белу свету. Но главное заключалось в том, что дядя был в ту красавицу влюблен. Мог ли он допустить, чтобы его возлюбленная отправилась на лагерные нары? Поэтому и загремел он сначала на лесоповал в Коми, а затем на строительство секретного полигона на Новой Земле.

Маме вновь довелось считать пешие версты. Когда братец сидел в камере предварительного заключения — снабжала провизией, отбывал наказание в лагерях — носила посылки с махоркой и вязаными шерстяными носками в Алексеевку, чтобы быстрее дошли.

После смерти Сталина дядю амнистировали. Выходило, что невольное амнистировали и маму. Вернулся он с перевоспитания осенью. Из Алексеевки тоже добирался пешком. Принес гостинец — красное яблоко. Я впервые увидел этот румяный плод и не знал, что с ним делать. Дядя очистил яблоко, нарезал дольками и сказал:

— Не морщись. Попробуй. Понравится.

Я попробовал. Понравилось, да так, что втихаря выгреб из мусора кожуру и съел ее.

О лагерной жизни дядя никогда не рассказывал. Будто и не было нескольких долгих лет испытаний Крайним Севером. Лишь однажды обмолвился, что выпил полстакана негашеной извести — довели. С большим трудом дядю отходили. Чем довели — остается тайной.

О Сталине говорил не иначе, как о вожде, который рождается раз в столетие.

— Он же тебя погнал на каторгу. За семь кило зерна — семь лет, — недоумевал я.

— Погнал не Сталин, а окружение. Мало ли вокруг него дураков вилось? Если нас в ежовых рукавицах не держать, всю страну по сусекам разнесем. Он ее, страну, собрал, отстоял от немца. Посмотри на карту — вон она какая завидная. Это тебе не тщедушная Болгария. Что за страна за лапоть величиной?.. В лагерях не мед. Но зато теперь любого мужика за пояс заткну.

Он имел в виду не физическую силу. Тут моему родственнику похвастаться было нечем. Выражение «в чем душа» — о нем. Не атлант. Голова маленькая, большие уши торчком. Сутул. Кадыкастая длинная шея. Он подразумевал то, что благодаря лагерям стал мастером на все руки.

Мне эту метаморфозу не объяснить. Сталинские ГУЛАГи отнимали у заключенных здоровье, калечили души, низводя до бродяжьего уровня кругозор и систему жизненных принципов. Дядю же лагеря не обобрали, не ошкурили, а, напротив, как бы огранили, слегка обтесали. Пришел без единой татуировки. Не пил. По возвращении домой бросил курить и был самым востребованным специалистом в колхозе и в хуторе...

...Вспомнив о бабушке, маме, дяде, я остановился посреди буранной пляски от неожиданного открытия. Выходит, шлях, по которому бреду, дарован всей нашей семье как наказание. Наказание за что?

Я снял перчатки, протер очки, подтянул шнурки ботинок. Хотел было закурить, но подумал, что особой радости подаренный водителем автобуса «Памир» не принесет, потому что никогда не курил.

Потихоньку начало светать. Ветер по-прежнему неистовствовал. Мои

следы тут же заметало крутой поземкой. Ноги одеревенели. Решил постоять, подумать.

Получалось, действительно все мы испытали горечь шляха. Что это? Злой рок и предопределенность я отмел, потому что тогда надо признать, что изначально мне, маме, бабушке, дяде была уготована роль ущербных людей. Но в чем мы ущербны? Действительно, в дорогу часто подталкивает несчастье. Но это не путь обреченного человека. Это путь к счастью. Купила мама курочку на рынке — счастье. Вернулась с козочкой — тоже. Принесла в хутор весть о мире — сказочное счастье! Если тянешься к счастью, ты растешь. Если оно падает к твоим ногам спелым яблоком, ты нагибаешься и можешь не разогнуться.

Выходит, чем больше испытаний выпадает человеку, тем он счастливее? Тоже нет. Не всякое испытание приводит к успеху. Но успех без испытания невозможен. Сколько их, моих сверстников, их отцов, матерей, меряли версты в поисках лучшей доли? Не все ее нашли. Но сыновьям и внукам тех, кто не нашел, теперь легче выбирать верный путь.

Вывод, к которому пришел, не показался мне безупречным. Но он был оптимистичен и помогал увереннее одолевать проказы недружелюбной зимней погоды.

— Расфилософствовался, — осадил я себя. — Философствовать будешь потом, а сейчас главное — добраться до дома.

Подтянув и поправив амуницию, я ускорил шаг. Или, по крайней мере, подумал, что ускорил. Считать бросил. Не сказать, что на зимний буранный шлях спустилась благодать. Но и то, что чуть-чуть посветлело и дорога проглядывалась уже четче, воспринимал как благодать.

Неожиданно для себя обнаружил: самое трудное для путника — замкнутое пространство. Ты теряешь в нем чувство единения с миром, с людьми, со всем, что окружает тебя, и становишься похожим на изгоя. А вот чувство горизонта дает ощущение перспективы и, следовательно, жизни. Ибо за горизонтом открывается новый горизонт, за жизнью — жизнь. Туда, к жизни, к счастью надо спешить.

Счастье посещает сельского жителя, мне кажется, чаще, чем городского. Выплатили в кои-то веки два десятка рублей за работу в колхозе — счастье. Выдался год урожайным для картофельных грядок — счастье вдвойне. Ну а уж если сумел заготовить корм для коровы — ты на десятом небе.

Коровенка, с пяток овец, поросенок и картофельные грядки на огороде, разумеется, не могли озолотить. Но без них не выучить, не поднять детвору. А власти и эту возможность окорачивали, потому что считали: личное хозяйство — рассадник зла, частной собственности. Оно, мол, отрывает от общественных забот. Поэтому, если колхозы и помогали продержаться коровенку, то как бы нехотя, формы ради.

Однажды мама занедужила, ее положили в больницу. Август — самое время заготовки кормов. Нет, не сена, его и колхозному стаду-то вволю не доставалось. Хотя бы чего-нибудь. Колхоз расщедрился. Убранное поле озимой пшеницы разделили на равные участки. Жребий определял, кому какой достанется. Я дрожащей рукой полез в сложенную пирожком клетчатую фуражку бригадира и вытащил бумажку с номером сто.

— Повезло тебе парень, — сказал бригадир, — круглая цифра. Не иначе, сена накопишь невпоровот.

Он почему-то злорадствовал надо мной, одиннадцатилетним. Не мог не знать, что мне досталось. Участки выделяли для того, чтобы косить.

Но не сено, стерню. На некоторых, правда, кое-где виднелись проклевнувшийся осот, робкий вьюнок, а то и всходы вездесущей лебеды. Но на моем участке не было ни сорняков, ни стерни вообще. Все выбили машины, возившие зерно и проторившие на нем дорогу.

Я не знал, что делать. Дома достал косу, пошел к соседу, тому, что выручил маму в истории с продавцом хатенки. Попросил мужика отбить непослушный инструмент, предназначенный отнюдь не мальцу. Тот долго курил, посматривая на меня и о чем-то размышляя. Наконец, встал со скрипучего стула и, взяв за подбородок, заглянул мне в глаза.

— Да, брат, задача у тебя... Не заготовишь корма, надо будет коровку со двора сводить. Сведете коровку, пропадете сами... Ты вот что, парень, ты на пуп не надейся. Он у тебя еще не устоялся. Бери умом. Смотри: пшеницу скосили, копны свезли, заскирдовали. А под копнами теми полова. Она-то и осталась на полях. Полова без остей, и в ней есть зерно. Корм лучше твоего сена будет. Бери мешок и таскай полову, сколько силенок хватит. Бог тебе в помощь. Я было сам намеревался этим промыслом заняться, да ладно, как-нибудь выкрутимся.

С участием соседа на его ножной колченогой машинке «Зингер» сшили из старого полосатого матраса мешок, приладили к нему лямки. Получился вместительный, до пят, рюкзак.

Полова — это то, что остается от обмолоченного зерна. Золотистого цвета легкие, скользкие чешуйки. Я сгрэбал их руками в мешок, и они приятно щекотали ладони. А внизу, на самой земле, настоящий клад — до ведра отборной пшеницы. Подбирал все до зернышка.

Я не просто носил полову. Я делал рейсы. Сигналил воображаемым встречным машинам. Приветствовал знакомых шоферов. Останавливался, чтобы залить в радиатор воды — попить из трофейной немецкой алюминиевой фляжки. Ноша не была тяжелой. Игра втягивала. Только вечерами чувствовал, как саднят босые ноги, изъеденные стерней. Мазал их сметаной, оборачивал остатками простыни и блаженно засыпал, чтобы завтра, едва сойдет роса, вновь отправиться в очередное путешествие за половой.

Подсчитал: месяца на два корм уже припасен. В оставшиеся четыре месяца каждый день корове нужно три мешка половы. Значит, необходимо сделать рейсов триста и уложиться в полмесяца. Каждый рейс — километра в полтора-два. Я осилил эту вроде бы неподъемную работу, освободив неоглядное поле от остатков урожая и тем самым подарив трактористам легкую, беззаботную вспашку зяби.

Когда мама вернулась из больницы, я повел ее в сарай, доверху набитый половой.

— Смотри мам, что я натворил.

Единственный раз в жизни я видел маму плачущей навзрыд. Она опустилась на колени, нагребала пригоршни половы, пропуская ее через растопыренные пальцы и сквозь слезы приговаривая:

— Дитятко ты мое, дитятко... Дитятко ты мое, дитятко...

После зимовки мы вывели буренку в стадо. Полова оказалась эликсиром жизни: по оценке мамы, в стаде наша корова смотрелась на загляденье.

Выпадали ситуации, о которых дома я предпочитал не распространяться. За нашими огородами посеяли кукурузу. Кукуруза выросла, что твой лес. Зайдешь в посевы — солнца не видать. На початки и стебли посягать не полагалось. Не ровен час, обвинят в краже колхозного добра. А

промышлять сорняками считалось не грех. Междурядья посевов были чистыми, но в рядках, особенно там, где кукуруза не взошла, находило пристанище куриное просо — густой, сочный сорняк, заканчивающийся небольшой метелкой с семенами, похожими на просо, но помельче. Его у нас называли собачкой за длинные, острые клиновидные листья. Неосторожно проведешь рукой, тут же «укусит», оставив, будто бритва, на ладони кровоточащую полоску. За этой самой собачкой и охотились, подрезая ее серпом и набивая мешки. Груз вываливали на огороде, он высыхал и был, конечно, не сеном, но и не соломой. Заготавливать собачку было непросто. Того и гляди нарвешься на объездчика. Проще говоря, сторожа, который развезжал по полям верхом на лошади, и горе было тому, кто резал эту самую собачку.

Сторож был однорук, неразговорчив, скрытен. Он появлялся всегда неожиданно и доставлял немало хлопот всем, кто охотился за собачкой на колхозных плантациях. Однажды попался и я. Сижу на карточках, быстро режу серпом брызжущий соком сорняк.

— Ты что ж, щенок, делаешь? — слышу вкрадчивый голос объездчика. — Сейчас я тебя, гаденыша, проучу.

Вижу, как над всадником взвилась длинная плеть кнута, которая вот-вот опустится мне на голову. Его правая культя (руку до локтя отняла война) лишь слегка всколыхнулась, похожая на обрезанное крыло.

Я не стал убегать. Медленно поднялся с корточек, широко расставив ноги, отвел руку с серпом в сторону и чеканил слово за словом:

— Только тронь... И тебе брюхо вспорю. И лошади.

Рука моя побелела, сжимая серп. Губы и ноги дрожали. Рубашка взмокла от пота.

Вид мой испугал объездчика не на шутку. Он ретировался, сказав:

— Шпаны у нас еще не было, так вот вылупилась.

Я приготовился к худшему. Доложит бригадиру, тот — председателю. И начнут обвинять во всех смертных грехах матушку. Не доложил. Но встречи со мной избегал и за глаза обзывал словами, в ряду которых гаденыш было самым пристойным.

Хорошо, что превратности деревенской жизни, ее мели и перекаты мы с мамой мы преодолевали не одни. В нашем утлом суденышке нашлось место всему семейству: и бабушке, и дяде, и тете, его жене, доброй, сердечной, глуховатой женщине. Той, из-за которой его отправили в Гулаг на Крайний Север. Две мамыны сестры, старшая и младшая, Золотого дочь, навешали нас редко — переехали с мужьями в другое село.

Казалось бы, капитанская роль в суденышке должна была принадлежать дяде. Первое время, соскучившись по жизни на воле, он действительно брался за все. Но постепенно энтузиазм иссяк. Считал, что после северных лагерей он имеет право пожить для себя. Избегал мало-мальски трудной физической работы. Даже кузнечное дело, которым занимался на первых порах, его начало тяготить. Дядя стал готовиться к тому, чтобы зарабатывать трудодни дома. Построил небольшую мастерскую. Ее можно было принять за выставку столярных инструментов: на стенах висели мудреных названий рубанки метровой величины и совсем крохотные, долота, стамески, деревянные лучковые пилы и еще великое множество приспособлений для обработки дерева. Все сделал сам — щепетильно подбирая материал и с усердием подгоняя каждую деталь.

Когда в хуторе (лет на десять позже, чем в селах) появилось электри-

чество, по собственному разумению ядта сладил универсальный столярный станок. Настенная коллекция инструментов оказалась ненужной. Знатоки ее сватали. Были гонцы даже из столицы. Предлагали большие деньги. Дядя, в деньги влюбчивый, в этом случае становился резким и непреклонным. Говорил обозленно:

— Это моя душа. А она не продается ни ангелу, ни черту, ни дьяволу. Уходи, мил человек, подбру-поздорову, не доводи до греха, а то обматерю.

Мог он сделать действительно почти все, без чего сельскому жителю было тогда не обойтись. Не касался только машин.

— Это не по моей части, — вроде как оправдывался. — Бензин и солярку каждый день нюхать здоровье не позволяет. Столярка — это мое. Захочу, ковер-самолет слажу. Деревянный!

Дядя любил прихвастнуть. Ковры-самолеты из его мастерской, конечно, ни разу не вылетали. А вот окна, двери, столы, стулья, табуретки, шкафы и еще великое множество столярного товара шло нескончаемым потоком. И не только столярного. Свалить и подшить валенки, стачать сапоги, тапочки — пожалуйста! Сложить печь, покрыть крышу соломой ли, шифером или железом — запросто! Подковать лошадь, изладить хомут, сбрую, сани — да ради бога! Делал с душой. Тот же хомут, украшенный медными рельефными пластиночками, выглядел нарядно, празднично, и казалось, что он приободрял самую захудалую колхозную лошадедку. Как и янтарного цвета дуга, украшенная растительным орнаментом, под которой звонко и бодро в любую погоду пел колокольчик. Но эту упряжь он оставлял дома, колхозу делал что попроще, хотя тоже с выдумкой.

В его доме все, вплоть до рамок для фотографий, было изготовлено собственноручно. Над одной рамкой он горбатился особенно долго, инкрустируя ее, украшая затейливыми узорами. Поместил в нее большой портрет средних лет мужчины в галстукe, фуражке, с усиками мушкой. Приладил на стену рядом с иконами.

Удивляюсь:

— Зачем портрет отца в святом углу помещать? Он же не святой. Тебя бросил...

— Для меня батя святее святых... — Дядя зло зыркнул на меня наивной детской синева глазами. — Еще посмотрим, что из тебя, племянник, получится. Святой или грешный...

Странная особенность была в его характере. В одних случаях — железная твердость. В других — детская податливость. Со временем именно эта черта проявлялась все больше и больше и связана была с его мастеровитостью. Многочисленные клиенты, за исключением колхозных заказчиков, старались отблагодарить дядю не только рублем, но и вездесущим магарычом — самогоном. Постепенно его верной и единственной подружкой становилась рюмка. Сначала выпивал для аппетита, потом — с устатку, а потом — каждый день по поводу и без повода.

Всплыла передо мной такая картина. Сидим в мастерской. Наслаждаюсь тонким ароматом свежей янтарной стружки. Заходит женщина, вдова, одна поднимающая троих детей.

— Золотой, на месте?

— А где ж мне быть? Что пришла?

— Надо бы мне ведро литров на десять изладить. Ты — как?

— Материал принесла?

— Нету жести. На тебя надежда

— Золотой сделай... Золотой найди, из чего сделать... Ладно. Готова рассчитаться?

— А как же, — женщина достала носовой платочек с завернутыми в нем рублями. — Сколько?

— Нисколько. Потом отдашь, когда сделаю. Я про другой расчет говорю.

— А-а-а, я и забыла. Вот тебе другой расчет, — женщина подала бутылку самогона, закупоренную кукурузной кочерыжкой.

— Вот с этого и надо начинать, — наставлял дядя. — А то деньги сует... Положи вон туда, на опилки. Пригодится.

Часа через два от самогона не осталось и капли. Дядя спал, обняв стожок стружек.

И так повторялось часто. Бабушка с тетей старались отбирать дары клиентов, он начал эти дары прятать то за стреху, то в кучу опилок, то еще куда-нибудь. Тетя, вставая рано утром, пыталась обнаружить потайные места и прибегала к самосуду, тут же разбивая бутылки. Это привело только к тому, что раньше он назвал супругу женушкой, Аннушкой. Теперь у нее было одно грубоватое имя — Нюрка. Нюрка возьми, Нюрка принеси, Нюрка купи — не иначе.

В остальном самосуд помочь не мог. И заказчиков было много, и дядя на похоронки был изобретателен. Сделал скворечник. Висит себе и висит на фронтоне мастерской аккуратный птичий домик, скворцов поджидает. Но у скворечника оказался секрет: боковая стенка покоилась на скрытых петлях и открывалась, как дверца письменного стола. Туда, поднявшись на стремянке, дядя прятал свое самогонное богатство. Однажды, видимо, нетрезвый, забыл закрыть похоронку, и тетя ее распотрошила. Дядя в очередной раз стал героем хуторских прибауток.

— Золотой, а, Золотой, ты у нас птицевод. Вон каких скворцов вывел. Горластые, с зеленым отливом, — ехидничали.

— Выведешь тут с вами. Сами бутылки суете, а потом издеваетесь, — обижался дядя.

В конце концов, тетя с бабушкой ополчились на заказчиков и в буквальном смысле гнали их со двора. Тоже не помогало. Дядя вычислял потенциальных клиентов и авансом выпивал магарыч у них дома. Запойные дни могли сочетаться с месяцами трезвости. Но таких светлых окон становилось все меньше и меньше. Дядя понял, что зашел далеко, сам лечился в стационаре.

Приехал домой обескураженный, обнадуженный.

— Представляешь, племянник, на выпускном всех нас, алкоголиков, построили в две шеренги. Велели выйти из строя одному бедолаге. Поднесли полстакана водки. Тот выпил — и в обморок. Хорошо, хоть рядом врач был, откачал... Теперь я к ней, отраве, и близко не подойду.

Прошел месяц, другой, третий... Мужики отмечали праздники, выходные, собравшись у магазина, пили за компанию. Дядя в их обществе чувствовал себя человеком второго сорта. И не выдержал. Купив бутылку водки, поехал в Алексеевку, сел на пороге больницы. Выпил стакан, другой. Больничная помощь не потребовалась. Нерушимая дружба с рюмкой была восстановлена, а историю эту долго муссировало местное общество как образец изобретательности и твердости духа мужика. Золотой ходил в героях, не подозревая, что над ним подтрунивают. Утренние обходы клиентов возобновились. Дядя собирал самогонный оброк без стеснения.

Как и все, кто дружил со спиртным, был он эгоистичен, если не сказать эгоцентричен. Установка пожить для себя эту черту характера усиливала. Наши проблемы его не заботили. Помогал редко, нехотя. Хотя иной раз больших усилий это не требовало.

Половина сельского огорода отводилась у нас для корма домашней живности. Сеяли овес попеременно с викой, кормовую, лимонно-желтого цвета свеклу. Вторая половина предназначалась для картошки. Сажали ее с четверть гектара. Она на хуторе приравнивалась к валюте, потому что только за картошку на Донбассе можно было приобрести уголь — главный в наших безлесных местах источник зимнего тепла. Какой бы урожайный ни был год, закроем в погребе с осени «валютной» картошкой — наполняли во что бы то ни стало. В ущерб себе и живности на подворье. Зимой урожай выдерживали. А весной начинались походы в различные районные и местные конторы с одной целью — заполучить грузовую машину. И хотя заполучить ее можно было только за плату и магарыч, редко кому улыбалась удача с первого раза.

— Кто ты? Ты частник. Мелкий собственник. Антигосударственный элемент, которому ближе всего свое брюхо. А предприятие живет для государства. Вот будут свободные машины, тогда и посмотрим, — растолковывали просителям в больших и не очень конторах.

Смотрины длились долго. Люди нервничали: чем ближе лето, тем дешевле картошка и дороже уголь. В конце концов, свободные машины находились. Караваны шли в донецкие края, а через три-четыре дня возвращались, доверху груженные антрацитом, который блестел на солнце, как драгоценный камень. Да он и был драгоценным в прямом и переносном смысле слова. В прямом — потому что доходы от продажи картошки на рынках редко когда превышали расходы на машину, на бензин и уголь. В переносном — потому что без антрацита перезимовать, обогреть хатенку было невозможно. Поэтому год считался удачным, если во дворе радовалась глаз приличная куча угля. Говаривали: антрацит — уголек надежный. Засыплешь в печку ведро, и любой мороз не мороз. Остальные угли — что солома. В золу за полчаса превращаются. На ночь ведра три надо.

Но у антрацита, качественного коксующегося донецкого угля, был один недостаток. В печке надо было разложить небольшой костерок из дров, высыпать уголь на этот костерок, и только тогда антрацит начинал румяниться, а потом и гореть ясным, жарким пламенем. На этот костерок нужно было набрать другое дефицитное топливо — дрова.

Требовалось их немного, но взять было негде. Иногда мама по ночам навещала к кузнице. Там зимой ремонтировали то, что потребуется летом: телеги, хода, дрожки. Чаще всего из строя выходили деревянные колеса. Они были устроены примитивно: в ступице, от которой отходили деревянные спицы, покоилась чугунная втулка. Благодаря этой втулке колесо вращалось вокруг железной оси телеги. Чтобы уменьшить трение, во втулку загоняли большое количество мазута. Но своевременно и старательно колеса смазывали не все. Поэтому чугунная втулка лопалась, деревянная ступица быстро размалывалась, и колесо уже восстановлению не подлежало. Его выбрасывали за ненадобностью.

Мама самокатом доставляла тяжелое колесо домой. А уж тут вступал в дело я. Приспособлений, кроме толстого зуба от бороны, острием напоминающего гвоздь, и выщербленного молотка — никаких. Часа три-че-

тыре уходило на то, чтобы освободить колесо от железного обода, остатков втулки и железных колец, которые опоясывали ступицу. Сгорали эти дрова, пропитанные мазутом, так весело и так азартно, что надо было не прозевать с засыпкой в печку угля.

Порой и кузница не выручала. В иные дни мы в буквальном смысле бедствовали. Но дядя ни разу нам не помог, хотя дров, отходов от столярки у него накапливалось порядочно. Выручала бабушка. Наши вечерние визиты для нее были условным сигналом: мы мерзнем. К ним она готовилась заранее и всегда, провожая нас, совала маме сверток из газеты:

— На, Настенька, тут с десяток полешек. Закончатся, еще придете.

Маяковский дарил любимым морковку. Бабушка нам — отходы от столярки. И этот подарок был для нас самым желанным. Мы приходили домой, раскрывали пакет и буквально ощупывали каждый полешек, наслаждаясь его ароматом.

Не знаю, почему бабушка прибегала к столь странным приемам благотворительности. Может быть, опасалась внести раздор в семью, хотя трудно предположить, что стружка и поленца определяют семейные отношения. А может быть, это было свойством бабушкиной натуры: сказать, чтобы поделится с сестрой дровами, не решалась, не зная реакции. Лучше уж так — втихаря. Зато вернее.

Прибегала она к тайной заботе о нас, особенно обо мне, часто.

Хутор состоит из двух шеренг домов. По существу, одна улица. Но улица широкая. Между шеренгами метров триста выгона, летом зараставшего цикорием, репейником, подорожником, мелкой кучерявой травкой. Дом бабушки и наш дом напротив. Между ними — юркая, основательно протоптанная стежка. Ее протоптал я, с десяток раз за день бегая к бабушке, которая угощала то блинчиками, то оладьями со сметаной, то наваристым борщом. Но летом особенно желанны были ягоды.

До войны хутор окружали лесопосадки, каждая семья стремилась обзавестись садом. Оккупанты почти все деревья вырубili, готовя на кострищах еду. А оставшиеся после войны сады вырубili сами жители, потому что на каждое плодое дерево государство ввело налог.

Поэтоу нам, детворе, яблоки, груши, сливы были в диковинку. Их привозили на подводах гонцы из дальних сел, обменивая на зерно. В неурожайный, нехлебный год ведро яблок шло за полведра зерна, в урожайный — ведро за ведро. Однако редко кто соблазнялся на обмен. Тратить хлеб на какие-то там яблоки, пусть и дородные, сортовые, считалось непозволительной роскошью. Мечтали возродить сады, чтобы хутор не выглядел временным поселением кочевников в бескрайней, безбрежной степи. Мечту реализовали, когда мне было уже лет пятнадцать. А до этого ребятня лакомилась, в основном, терном, дикими яблоками и грушами, за которыми ходили в дальний лесок, приютившийся в балке.

У бабушки от сада осталось несколько вишен. Росли они не в палисаднике, не у дома, а посреди огорода. Их даров я с нетерпением поджидал, каждый летний день стремясь быть на виду у моего опекуна. Бывало, выйдет бабушка со двора и заговорщицки машет рукой: иди, мол, дело есть. Тропка знает, как скоро я откликнулся на ее зов и как быстро бегал. Бабушка гладила меня по вихрастой голове и говорила:

— Поджаливаю тебя, внучок. Жалеть-то особо некогда и нечем. Ступай в вишенник. Пока дядя с тетей на работе — полакомься.

И я по стежке, по стежке, протоптанной между рядов цветущего картофеля — в такой желанный сад. Вишни в нем дикие, тощие, с шелуша-

щейся рыжеватой корой. Их и с десяток не набиралось. Но это ведь другой мир. Оазис! Солнце играет со мной в прятки, время от времени выглядывая из листвы и румяня вишни. Тень загадочно перемигивается со светом, пахнет янтарной вишневой живицей. Я стараюсь залезть на деревце повыше и горстями, не жуя, глотаю брызжущие соком ягоды вместе с косточками. Сначала все более-менее спелые. Потом только крупные, с черноватым отливом. А когда они начинают не вмещаться в живот, набивая ягодами карманы штанов. Вишни мнутя, сок течет по ногам, окрасивая прилипшие к телу штанины в фантастические цвета.

Возвращаюсь по тропке меж картофельных грядок степенно, вальяжно. Заглядываю на огуречные грядки. Пупырчатые, колючие огурцы появлялись у бабушки раньше, чем у нас, потому что она раньше огурцы сажала. И только после этого визита возвращаюсь во двор.

— Я набрался, — докладывал я бабушке. — Больше некуда.

— Вижу-вижу, что набрался, золотничок мой, — улыбалась бабушка, вытирая мое разукрашенное ягодами лицо фартуком. — Гляди, штаны от радости не потеряй. Придешь домой, помойся, смени белье и принеси мне — простирну.

Осторожность бабушки в этом случае мне была понятна. Дядя ждал вишенного сезона с не меньшим вожделием, чем я. Он смешивал спелые ягоды с сахаром, засыпал несколько ведер в алюминиевый молочный бидон. Так готовился хмельной ароматный темно-красного цвета напиток. Напиток вызревал редко. Только-только смесь забродит, дядя начинал снимать пробу большой алюминиевой кружкой. Через несколько дней заглянешь в бидон, а в нем ни капли сока, ни ягодки...

...Раздумья мои прервал шедший на встречу путник. Он будто вынырнул из метельного варева и удивленно уставился на меня.

— Не ожидал, что встречу привидение в таком одеянии. Погода все утро вытрясает. И, протянув руку для приветствия, представился:

— Хлыщ.

Я едва дотронулся до его скользких костлявых пальцев, назвал себя и спросил имя-отчество.

Тот неожиданно ответил:

— Хлыщ он и есть Хлыщ. Кличка. Имя-отчества не заслужил. Нет меня в таблице уважения.

— Как это?

— Да так. Ты думаешь, человеку имя-отчество с рождения дается? Нет, в метриках пишут. А уж будут величать по имени-отчеству, нет ли — как повезет.

— Не повезло?

— Повезло. На нары... Четырежды сидел.

Я окинул взглядом путника. Вид у него был отталкивающий. Прорезиненный плащ буроватого цвета доставал до пят, тянулся шлейфом по снегу. Капюшон надвинут на мелкие, сырые глазки. Тонкие губы утонули в жиденькой неряшливой бородачке. Под незастегнутым плащом виднелась москвичка — длинная поношенная шерстяная куртка с воротником из мутона и четырьмя карманами по бокам. Одни, с клапанами, горизонтальные. Два других — вертикальные, облежавшие живот. В руках авоська с завернутой в газету поклажей. Подумал: еще этого не хватало — встретить в буранный день в безлюдном месте уголовника.

— Не тушуйся, не тушуйся. Не трону. Не в моих правилах разбойни-

чать на дорогах. Да и взять у тебя нечего. Чемоданчик несешь легко. Там, небось, бритва да сладости.

Он почти угадал. В чемодане действительно кроме бритвы и гостинцев ничего не было.

— Курево есть?

Я протянул початую пачку «Памира».

Он повертел ее в руках и хмыкнул:

— Смотри, — показывает на пачку. — В тему. Стоит какой-то скиталец с рюкзаком и клюкой и всматривается в горы. Как мы, бедолаги.

— Мы бедолаги?

— А кто ж еще... У кого крова нет, тот и бедолага.

— У тебя — нет?

— Да как сказать...

Он укрыл голову полой плаща и прикурил. Курил жадно, глубоко затягиваясь и с особым удовольствием выпуская дым через слегка вывернутые ноздри.

Закурил и я. Пытаясь подражать собеседнику, глубоко затянулся. Голова тут же закружилась, проклюнулся и долго не унимался утробный кашель.

Мой встречный посоветовал:

— Брось. Не куришь — не начинай. Курево, как и нары, прилипчиво. Потом с мясом будешь вырываться из этих объятий. И не вырвешься. Шагать тебе еще долго. Не расслабляйся. В этом буряне можешь сгинуть ни за понюх табаку. Ладно, бывай...

Водоворотная вьюга тут же поглотила его. Мне стало почему-то жаль, что мы вот так быстро растались. Я даже не успел сказать ему каких-то ободряющих слов, затеяв какую-то бессмысленную пересловицу. А может, ему эти слова и нужны были более всего в его жестокой и круговертной, как эта буря, жизни.

Когда смотрел фильмы о войне, в которых люди в солдатских и офицерских гимнастерках веселятся, женятся, обзаводятся детьми, не верил им. Рассуждал: человек не железка. Должен понимать: случайный снаряд, случайный выстрел — и прощай, солдат! Не до веселья.

Теперь — верю. Любая опасная, надолго затянувшаяся ситуация нехороша еще и тем, что ты адаптируешься к ней. Ты психологически устаешь от постоянного ощущения беды и, в конце концов, утрачиваешь бдительность, расслабляешься: что нам Черное море, если Тихий океан ложкой вычерпали.

Непогода убаюкала и меня. Ветер стенал. Метель выделывала какие-то замысловатые кренделя. Иной раз думалось, что слева, справа, спереди, сзади вольготно гуляет солнышко, и только вокруг меня кружит и кружит вихрь. Будто надо мной какой-то колпак из снега и хмари, который не отпускает ни на минуту. Я — вперед, и он — вперед, я остановился, и он повис в ожидании. Пройдя два десятка километров по бездорожью, устал до дрожи в ногах. Но по привычке к буряну, воспринимая все, что вокруг, уже не как опасность, а как необходимую работу. Я перестал ощупывать железным стержнем путеводные снежные глыбы и вскоре за это заплатился, вдруг обнаружив, что ветер дует не прямо в лицо, а слегка в бок.

— Неужели сбился с пути? — мелькнула шальная мысль, от которой даже взмок. И чем дальше шел, тем становилось очевидней: сбился. Трудно было определить, шел ли я полем или какой-то другой дорогой.

Через час-полтора к бурану опять присоединится темень, и тогда из этого чертопьяса, как называла вьюгу прыгая проводница, действительно не выбраться. Ноги будто отнялись. В висках запульсировал метроном. Что делать?.. Что же делать?

Надо было успокоиться. Успокоиться во что бы то ни стало. Растерянность губительна. Для одинокого путника, затерявшегося в буранной степи, она опасна вдвойне: привести тебя в чувство некому, надо взбодриться самому. Я поставил чемодан на снег и сел лицом к ветру — казалось, так яснее думается. Ветер, конечно, дует не так, как прежде, не прямо в лицо. Но он мог и изменить направление. Оставалось одно — попробовать взять в помощники дорогу. Я посидел на чемодане еще минут двадцать, собираясь с силами и унимая волнение.

Вокруг меня ветер уже намел стожок снега. Засиживаться было нельзя. Я предусмотрительно бросил черные кожаные перчатки в чемоданчик — так целее будут, опустил на колени и голыми руками стал лихорадочно разгребать нанос, стараясь добраться до земли. Только так можно выяснить, иду ли я по полю или все-таки попал на другую дорогу. Метель тут же заносила раскопку. Метроном стучал и стучал. Что делать?.. Что же делать?

Я начал разгребать снег ногами, а потом призвал в помощники железный костыль. Копаю в одном месте, в другом, в третьем — безрезультатно. И вот — удача! Из наноса вывернулись ключья соломы и замерзшие кругляши серого лошадиного навоза. Солома была свежего золотистого цвета. Замерзшие лошадиные кругляши тоже на изломе не серые, в них встречалось непереваренное зерно. Значит, солому везли совсем недавно. Всех лошадей в колхозах зерном не кормили — его не хватало. Поэтому оно доставалось только тем, что обслуживали фермы. Стало очевидно, что это дорога, которая вела в поле, и ездили по ней на саних к скирду, нагружали сани соломой и возили на ферму. Приглядевшись, отметил, что место, на котором стою, слегка, едва заметной жилкой приподнимается над полем. Дорога! Это полевая дорога!

Я приободрился еще и потому, что не должен был далеко уйти от шляха. Не мешкая, взял чемодан, железный костыль и заторопился обратно. Метроном еще стучал в висках, но уже тише, спокойнее. Ветер прощупывал и прощупывал мое левое плечо. Через полчаса полевая дорога влилась в шлях, показавшийся мне особенно приветливым и желанным.

Решил еще раз передохнуть, сев на чемодан лицом к ветру.

— Растяпа и есть растяпа! — бранил я себя вслух, подбирая слова покрепче и позабористей. — Распетушился, распустил павлиний хвост! Хорошо, если зимник вел действительно к скирду. В нем можно от бурана укрыться. А если нет?

Вдруг справа заметил точку, которая быстро, наискосок, приближалась к шляху. Вскоре ее очертания определились явственней. Это была запряженная в небольшие сани лошадь. Но раз есть сани, есть лошадь, должен быть и наездник.

— Эй, эй! Пстой! — заорал я, вскочив с чемодана и размахивая клюкой. — Ну, остановись же!..

Предположив, что встречный ветер гасит крики, я сорвал с чемодана сумку с промасленной ветошью, поджег ее и, поддев клюкой, начал размахивать факелом. На меня посыпались искры и пепел. Через мгновение ветер сорвал факел с железной клюки, швырнул его на землю, и огненное облачко унеслось, не оставив следа.

Упряжка пошла галопом и скрылась из вида.

Мной овладела истерика. Я бил и бил по снежным глыбам железной клюкой и, всхлипывая, орал непотребные слова. Если бы возница знал, что его обзывают сволочью, гадиной, желают провалиться в тартарары, он бы, наверное, пожалел о том, что не остановился.

Наконец, я взял себя в руки, поставил чемоданчик на попа и, сев лицом к ветру, задумался.

Судя по всему, седок ехал в розвальнях. Это крохотные, будто игрушечные, сани. Пассажирский кузовок высоко покоится на узких, обитых снизу железными пластинами полозьях, спереди выгибающихся дугой. Над этой дугой лебединой шеей нависает передняя часть кузовка. Задняя часть наполняет слегка откинутую спинку кресла. Розвальни украшают резными деревянными узорами, красят масляной краской ярких, нарядных цветов. Какую-нибудь Савраску в такие сани не запряжешь. Она будет выглядеть так же странно, как барин в мантии и лаптях. К розвальням, рассчитанных на двух-трех седоков, подбирают коней с норовом, лихих, игривых. Ездят в них в основном служивый люд: участковые, бригадиры, сельские врачи, ветеринары. Кое у кого есть розвальни и в личном пользовании. Но, как правило, они простаивают — лошадей частникам тогда держать не разрешалось.

Знал я только одного человека, у которого был и приличный конь, и фигуристые розвальни. Звали его Котылем. Росту в Котыле метра полтора. Говорили, что в детстве он упал с дерева и чем-то заболел. Торс и голова со временем увеличивались, а ноги так и оставались детскими, дугой. Не ходил, а котылял, перебирая кривенькими ножками, обутыми в хромовые сапожки с голенищами гармошкой, и неестественно прижав длинные руки к бокам. Отсюда и кличка. Но лицо у него было свежее, синеглазое и вместе с тем — с приметам ласкового разбойника. Взгляд всегда напряженный, испытывающий, стремящийся угадать, что ты из себя представляешь.

В мужском обществе его недолюбливали, и он это знал. Знал и то, что и полевая борозда, и луговой покос тоже не для него. Все свое внимание мужичок с ноготок сосредоточил на женщинах и, к моему удивлению, имел у них успех. Жен менял, как перчатки, и держал их в строгости. Заявлял цинично:

— Баба, что скотина. Попользовался — заводи новую.

Пользовался он этим народом часто и, бывало, без разбора. К нам в хутор заглядывала иногда юродивая Шура. Где она жила, я не знаю. Юродивая то надолго пропадала, то появлялась, обходя наши хуторки и прося милостыню. Брала все. Но была явно недовольна, если ей вместо денег давали что-нибудь съестное. Одевалась в черные, редко стираемые монашеские одежды, была чернявой сама, говорила, опустив глаза, тихим спотыкающимся голосом, и поэтому казалась каким-то странным, приносящим несчастья призраком, спустившимся на землю.

Однажды обнаружилось, что у призрака начал расти животик. Вскоре поползла молва: виной всему Котыль, о котором юродивая рассказывала каждому встречному-поперечному. Юродивую жалели, Котыля, позарившегося на бедную Шуру, презирали. Хотя сама Шура говорила о Котыле уважительно и называла любовно — мой кавалер.

Жил этот Кавалер не в хуторе, а на отшибе, у балки, поросшей кустарником. Держал большое хозяйство — коров, отару овец, пуховых коз, целое стадо гусей и уток. Управлялась с хозяйством, работая с утра до вечера, очередная жена Котыля. Сам хозяин барствовал.

То ли по чьему-то совету, то ли по собственной догадливости открыл он для себя золотиносную жилу в работе старьевщика. Котыль объезжал окрестные хутора и села, меняя на иголки, нитки, мулине, глиняные свистульки в виде ярко раскрашенных щекастых петушков и прочую мелочь на куриные яйца, старую алюминиевую посуду и тряпье. Сначала ездил на телеге, дровнях и бурой кляче. Постепенно заменил эти транспортные средства на форсовые. За его мясистыми губами, искривленными постоянной усмешкой, притаился целый выводок мелких мышинных зубов, посверкивающих золотом. Воистину золотой оскал. Значит, работа приносила выгоду. И немало.

Старьевщику дозволялось иметь лошадь. Ходили слухи, что благодаря личному всепогодному транспорту, Котыль уводил овец с колхозных овчарен, возил зерно с токов, сливал у тракторов, оставленных в поле, горючее. Но не пойман — не вор.

Я был уверен в том, что Котыль и есть тот седок, который оставил меня на дороге. Почему оказался в такую погоду далеко от дома? Почему он не остановился, не подождал? Может, опять промышлял чем-нибудь, пользуясь метелью?

Натура у него, конечно, бесоватая. Мог напакостить в любую минуту, не получая от этого никакой очевидной выгоды. Наш магазин ничем не отличался от своих сородичей. Отопления нет, холодильника нет. С десяток покупателей зайдут, и уже тесно. Самые ходовые товары — соль, спички, керосин, хлеб, дешевые конфеты и пряники, рыбные консервы и водка. Иногда баловали свежей и соленой рыбой, пивом и подсолнечным маслом в железных бочках.

Пытались продавать товары и подороже, но попытки эти успеха не имели. Долгое время на витрине красовалась бутылка «Советского шампанского». Выглядела она невестой, которая неожиданно попала в среду одетых по-рабочему людей. Мужики долго к ней присматривались, крутили в руках и так, и эдак, но раскошелиться на красавицу никто не решался. Наконец, купили бутылку вскладчину и решили распить тут же, за магазином, заготовив для закуски добрый кусок сала. Красавица оказалась барышней, не привыкшей к деревенским мужским рукам. Открыть бутылку без потерь не смогли, добрая ее половина раскуделилась на рубашках страждущих. Остатки допивали с опаской, настороженно.

Коллективный вердикт был суров: газировка, квас, дерьмо. Испорченное настроение вынуждены были поправлять бутылкой водки, купленной тоже вскладчину. Пили, закусывая салом с черным хлебом и приговаривая: «Вот это то, что надо, до печенки пробирает».

Однажды пронеслась молва: магазинчик обнесли воры. На шампанское не позарились. Унесли ящик водки и ящик консервированных в томате килек. На этом основании десант прибывших из района милиционеров сделал вывод: водку и консервы взял кто-то из местных. Стали ходить по дворам, опрашивать людей. Никто ничего не знал. Лишь Котыль утверждал, что, возвращаясь поздно ночью домой на лошади, услышал звон разбитого стекла, остановился и увидел, как из магазина молодой человек вытаскивал ящик водки. Добыча была водружена в кабину грузовика. С места происшествия грузовик проехал мимо притаившегося Котыля, и тот узнал шофера — расхитителя кооперативной собственности. Вором был назван тихий паренек, которого поднимала одна мать, женщина симпатичная, но необщительная. Милиция обрадовалась неожиданному свидетелю и фактически оказалась в его власти. Дело принимало серьезный оборот.

Хутор, однако, роптал. Все считали, что показания Котыля — оговор. Не мог парень, никогда ни в чем предосудительном незамеченный и спиртного не пьющий, ни с того ни с сего позариться на ящик водки. Тем более, что водительские права получил несколько месяцев назад и технику как следует не освоил. Предполагали, и не без основания, что таким способом Котыль хотел отомстить матери паренька, отвергшей ухаживания кавалера. Мужская общественность, подпив, угрожала ему суровыми карами, но он на время куда-то уехал.

Когда опешившего юношу в очередной раз вызвали на допрос, с ним в район поехал завмаг. В завмаги он попал после армии случайно, надеясь, что непыльная, несуетная работа даст возможность подготовиться к вступительным экзаменам в институт. Все учел, кроме одного: соблазнительной, доступной сорокоградусной соседки, которая всегда была под рукой. Порочная связь вскоре обнаружилась, вызывая скандалы в семье. Мечты об институте подали в отставку.

Вернулся завмаг домой вместе с пареньком. Дело каким-то образом удалось замять. Но ему пришлось оставить прилавок и переквалифицироваться в овчары. Вскоре просочились слухи, что ящик водки на совести завмага. Долг за ежедневные авансовые прикладывания к бутылке рос себе и рос и оказался для него неподъемным. Семье о нем сказать не решался и надумал имитировать ограбление магазина, разбив окно. Скорее всего, так и было. А когда выяснилось, что могут посадить невинного юнца, в милиции признался во всем, внес деньги.

Хуторяне симпатизировали завмагу. Говорили: «Выпивать-то он выпивал, да совесть не пропил. И в долг, бывало, товар отпускал. А у этого, недоношенно-переношенного, совесть отродясь не ночевала. Виданное ли дело — ребенка оговорить?!

Котыль наэлектризованную общественную атмосферу чувствовал и в хуторе почти не показывался. Иной раз промчится молнией на тарантасе — только пыль столбом. Будто напоминал о себе. Будто грозился: ждите: я вам всем еще устрою.

Всем не устроил. А вот меня на буранной дороге оставил. Да и стоило ли ожидать участливости от человека, который ею явно обделен? Не потому ли, что мстил за физическую неполноценность, считая окружающих виновными в его несчастье? Эта мысль показалась мне нелепой: не у одного Котыля есть физические недостатки, но кто из них прибегает к странной, ничем не оправданной мести?

А может, его поведение изначально предопределено природой как способ выживания? Черепаха наделена панцирем, волк — клыками, орел — хищным клювом. Не будь их, ни черепахи, ни волку, ни орлу не выжить. Выходило, что Котылева спесь — форма самозащиты, средство выживания? Кто такой Котыль без спеси? Просто инвалид. Кто такой Котыль в его нынешнем обличье? Человек, который не нуждается в сострадании и милосердии как в подачке. Ему подачка не нужна. Он диктует свою волю, свои правила игры, и способность к диктату превращает его в демона, злого духа, с которым люди вынуждены считаться.

Котыль — не кличка. Котыль — особь, тип, стоящий над моралью. Физические недостатки не свойства Котылей. Внешнее благообразие тоже не означает, что за ярким, привлекательным фасадом обитает ангел. Но все Котыли внутренне считают себя неполноценными. Поэтому стремятся подавить эту ущербность кто водкой, кто увлечением женским полом, кто экстравагантными выходками.

Жотыли не видят средство самоутверждения в добре. Они получают удовольствие лишь тогда, когда растаптывают добро. Но тогда получается, что Котыли дремлют в каждом из нас, просыпаясь в урочный час. Значит, дремлют и во мне?

Я поднялся и, оглушенный происшедшим, медленно побрел по шляху, вновь стараясь ощупывать снежные наросты железной клюкой. Начало стремительно темнеть. Шел на автопилоте. Я и раньше уставал. Ноги наливались тяжестью, становились ватными и требовали отдыха. Сейчас усталость была другого рода. Ноги будто потеряли некую чувствительность, которая позволяла интуитивно нащупывать поверхность снежного наноса. Я шел, как пьяный, то и дело натыкаясь на какие-то невидимые кочки, бугорки и поэтому спотыкаясь. Подкралось абсолютное равнодушие, какое-то странное отупение. Из головы выветрилось все, что рождало эмоции.

Между тем, дорогу повело под уклон. Потянуло дымком. По всему видно, я входил в Камызино, единственное село, по которому пролегал шлях.

Села в наших местах в большинстве своем особенные. Вокруг неоглядные поля, а они попрятались в оврагах и балках, как сурки в норы. Некоторые дома забралась в такие места, что ни подойти, ни подъехать. Я пытался разгадать эту загадку, но к какому-то выводу не пришел. Спросил у старожилов. Те внесли ясность. Выходило, что мои края всегда были обделены реками и речками. А в оврагах и балках притаились ручьи, родники. Близость воды и заставляла поселенцев облюбовывать для пристанища балки. Со временем ручьи высохли, овраги стали глубже и разветвленней, и приходится людям жить в окружении буераков. Мало накосить сена, заготовить дров, надо еще придумать, как их доставить к дому. Но где русский человек пропадал?

В этом смысле Камызино побогаобразнее, поуютней. Шлях разрезал село на две части и делал его похожим на узловую станцию. Взглянул на часы: десять вечера. Выходило, что проходил я в среднем чуть больше километра в час. По моим наметкам я должен уже быть дома. Но на деле до дома оставалось еще более двух десятков километров.

В центре села, у дороги, приметил автобусную остановку из железобетонных плит. Построить построили, а оштукатурить и покрасить не удосужились. Серого цвета строеньице без окон и дверей, внутри набитое снегом, приютило меня: я решил передохнуть, зайдя с подветренной стороны остановки. С облегчением прислонился к бетонной плите. Я, конечно, еще не дома. Но и не в чистом поле. Пока я в селе, со мной ничего не случится. Лежавший на соломе занесенный снегом бездомный пес поднял лопухую голову, недовольно рыкнул и снова закрыл глаза.

В селе светились редкие тусклые огни. Мелькнуло желание постучаться в чье-нибудь окно. Погреюсь, попыю чайку, и снова в путь. Но я не подчинился этому естественному стремлению уставшего тела. Разомлеешь в тепле и останешься на ночевку. Нет, уж лучше передохнуть тут, на остановке, притулившись плечом к железобетону.

Зимние вечера — мое любимое время. Летом они скоротечны. В селе стараются использовать каждый погожий день и час, чтобы подготовиться к осенней слякоти и зимнему ненастью. Уставшие, люди приходят домой поздно, наскоро ужинают и ложатся спать, чтобы часов в пять утра уже быть на ногах.

Зимой ритм иной. Вечера длинные, забот хозяйских немного, семья собираются вместе и под телевизионный аккомпанемент занимаются каждый своим делом. Шитье, вышивание, вязание, чтение, игра в карты сопровождаются воспоминаниями, новостями, долгими разговорами о прерватностях жизни, приперченными шутками и беззлобным подтруниванием друг над другом.

В нашей семье даже сложился ритуал зимнего вечера. Мама определила мне должность повелителя огня. Перед сумерками я шел в сарай и набирал уголь-антрацит. У антрацита было несколько сортов. Мелкий именовался семечками, покрупнее — орешком. Маме в вояже с картошкой на Донбасс почему-то доставался самый крупный — не меньше мужского кулака. Его надо было разбить. Удара обуха топора хватало, чтобы слиток антрацита разлетался на мелкие кусочки.

Ведро антрацита набито, несколько поленьев дров прихвачено. Нужно выбрать одно поленце, что посуше, ножом распустить его на лучины. Их надо аккуратно уложить на колосники, окружив горку шалашиком из дров. Подносишь спичку к лучинам, они тут же нетерпеливо вспыхивают.

Через пару минут весь шалашик обвивает бойкое пламя. Теперь, выждав, когда дрова превращаются в пылающие головешки, надо через конфорку в чугунной плите аккуратно высыпать на костер ведерко антрацита. Раньше нельзя. Уголь раздавит костер и не загорится. Надо еще выждать, когда охваченный пламенем уголь окрасит конфорки плиты в ярко-малиновые тона и затем слегка прикрыть вьюшку, иначе уголь быстро прогорит.

Моя задача выполнена. Приятное тепло медленно разливается по дому, заглядывая в каждый угол. Теперь очередь за котом. Он растягивается на самодельной дорожке у печки, как ловелас на пляже, и млеет от тепла, иногда пробуждаясь и позевывая.

В дело вступает мама. Она то и дело сновала из дома на улицу, ублажая домашнюю живность. Только откроет дверь из сенец, в прихожую, и на кухню тут же проскальзывают клубы холода, оставляя следы измороси на двери. Наконец, последняя ходка сделана.

— Слава Богу, на сегодня, кажется, все, — говорит мама, сбрасывая с себя сначала темно-синюю, всю в сенной трухе, шаль, потом видавшую виды фуфайку и резиновые с толстыми голенищами и подошвами сапоги, которые почему-то называли литыми.

От мамы пахнет коровьим молоком, сеном и морозом. Она немного отдыхает, затем отбирает крупные, одного размера картофелины, щеткой моет их, вытирает перекинутой через плечо тряпкой и бросает в поддувало — в небольшую камеру под колосниками, из которой в печку поступает воздух. Картошка в мундирах, неизменное наше вечернее блюдо, встала на боевое дежурство. На столе в глубоком фарфоровом блюде появляется янтарное подсолнечное масло, в керамическом глазированном блюде квашеная капуста с прожилками моркови, соленые огурцы и помидоры, пахнущие укропом. На плите в зеленом чайнике зреет чай из вишневых листьев и молодых вишневых веточек. Свежее домашнее сливочное масло, жирный творог и сахар занимают почетное место почти в центре стола. Ужин готов.

Втроем, к тому времени у меня появилась сестренка, мы долго и шумно усаживаемся трапезничать. Я беру горячую картофелину и, будто фокусник перекидывая ее из руки в руку, сдираю почти прозрачную кожуру с желтоватой мякоти.

— Осторожней, — говорит мама, — не ровен час обожжешься, а лечить нечем.

— Остолозней, — повторяет сестренка, — не ловен час — обоззесся, а лесить тебя нам несем.

Я молча показываю ей язык. Даже если обожгусь, не подам вида.

Сестренка морщится от такого нахальства, но и она молчит, тоже старательно освобождая дары огорода от кожуры.

Я макаю целую картофелину в блюде с пахучим подсолнечным маслом и вижу, как крутое, вязкое масло одевает ее в прозрачный праздничный кокон. Одной рукой сую непослушную, горячую картофелину в рот, а во второй уже наготове намашенная тем же путем соленая слегка остекленевшая капуста. Она сочно хрустит, наполняя нутро кислотовато-яблочным соком. Сладко!

Особенно сладко почему-то есть огурцы, картошку, капусту, помидоры не с алюминиевых вилок и расписных деревянных ложек, а вот так, залихватски — с рук.

А потом красноватый вишневый чай, отдающий вишневой смолой и летом вприкуску с бутербродом со свежим сливочным маслом или с крупчатым творогом, посыпанным толстым слоем сахара.

— Спасибо Зорьке, — говорит мама. — Что бы мы делали без нее.

Да, в трапезные минуты особенно понимаешь, что твои летние ухаживания за Зорькой оборачиваются такими вот благостными вечерами, когда бутерброд с маслом не праздничное, а повседневное блюдо на столе.

Я наскоро умываюсь под рукомойником и ныряю в кровать, в которую мама предусмотрительно положила грелку с теплой водой. Панцирная сетка и перина оседают подо мной, тело обнимает ласковое тепло. На противоположной стороне комнаты укладываются на кровать мама с сестренкой. Сейчас последует диалог, который я знаю наизусть.

— Мама, лас-ска-зи мне ска-зо-ску, — шепотом попросит сестренка.

— А какую сказочку рассказать? — тоже шепотом спросит мама.

— Про коровушку, про Зорьку.

— Ну, тогда слушай.

В доме темно. Только оранжевые блики от раскаленной антрацитом чугунной плиты отражаются на беленом потолке и стенах, и где-то там, наверху, скребется мышь. Приглушенный монотонный голос мамы наплывает и наплывает, заполняя всю комнату.

— В некотором царстве, в некотором государстве, у самого синего озера жила была мама с дочкой и сыночком. Жили они скромно. Всего-то богатств — пестрая, в белых и оранжевых яблоках коровушка. Наверное, из-за ее окраса и назвали они коровку Зорькой, Зоренькой. Да она и правда была похожа на ясную зорьку. Летом мама рано уходила на работу, и за Зорькой присматривали братец с сестренкой. Они поили ее холодной ключевой водой, кормили свежей травкой-муравкой, а к зиме запасали душистое клеверное сено. А за это Зорька угощала их разными лакомствами: парным молочком, сладкими сливками, тягучей сметанкой, рассыпчатым творожком, ароматным маслом. А еще Зорька могла предсказывать ненастье. Как только соберется злая туча, она тут же к дому: загоните меня в стойло и сами укрывайтесь от дождя и ветра.

Так и жили-поживали они у самого синего озера. Но слухом земля полнится. Прослышали о том, что у мамы с дочкой и сыночком есть щедрая коровка, два разбойника, и решили они ее отнять. Однажды, когда мама была на работе, слышат дети, что кто-то стучится в калитку.

— Кто там? — спрашивают дети.

— Откр-р-ры-ывайте — хрипит грубый мужской голос. — Это мы, два разз-з-збойника, Агудир и Могудир. Мы приш-ш-ш-ли за ваш-ш-ей Зор-р-р-рькой, котор-р-рая дает пар-р-р-ное моло-кк-ко. Не откр-р-ро-е-те, весь дом пере-вер-нем в тар-тар-ра-ры.

Делать нечего. Пустили дети разбойников во двор. Ходят разбойники — маленькие, в шапках, украшенных султанами петушиных перьев, в длинных красных штанах и с длинными саблями дугой — взад-вперед и требуют Зорьку. Ни на какие замены не соглашаются.

И тут мальчик вспомнил, что однажды, гуляя по берегу озера, он увидел задыхающуюся рыбку.

— Рыбка, рыбка, что с тобой? — спрашивает.

— Вихрем выбросило меня из озера на берег. Теперь задыхаюсь я. Пусти меня опять в озеро, добрый мальчик.

Мальчик, не раздумывая, пустил рыбку в реку, а та ему мешочек подает. Смотри, говорит, если будет кто угрожать, ты протяни сумочку и скажи, чтобы взял золотые червонцы. А дальше сам увидишь.

— Дяди разбойники Агудир и Могудир, — говорит мальчик, — не трожьте нашу коровку Зорьку. А я отдам вам за это все золотые червонцы. Много червонцев.

— Что, золотые чер-р-р-рвонцы? Много чер-р-р-рвонцев, говоришь? Неси быстр-р-рей!

Пока мальчик бегал за мешком, разбойники приплясывали, то и дело вынимая из ножен кривые сабли:

Мы, р-р-разбойники! Вдвоем
Всех вр-р-рагов своих сомнем.

Приносит мальчик мешок и говорит:

— Развязывайте, там золотые червонцы.

Первым к мешку кинулся разбойник Агудир. Развязал, видит: действительно золотые червонцы поблескивают. Он рукой тянется за ними, а мешок все расширяется, все увеличивается в размерах. Секунда и — Агудир в мешке. Ему на помощь бросился Могудир. Кричит, тянется трясущимися руками за поблескивающими золотыми червонцами. Секунда — и Могудир в мешке.

Дети бегают вокруг мешка, не зная, что делать. Вдруг слышат они голос рыбки из озера:

— Затяните мешок веревкой крепко-крепко да и бросьте в воду.

Хорошо сказать — завяжите. Девочка и мальчик-то маленькие. Еле-еле стянули горловину. Покатили мешок перекатом к озеру. Катят, а разбойники Агудир и Могудир плачут, умоляют выпустить. Мальчик стегает их хворостиной по выступающим толстым задам, приговаривая:

— Не гоняйтесь за чужим добром, не гоняйтесь за чужим добром.

Наконец, подкатали мешок к высокому берегу да и столкнули в глубокое синее озеро. Булькнул мешок в воду, и больше никто его не видел.

А мама с храбрыми сыночком и дочкой стали жить-поживать, да добра наживать...

Сестренка уже спит. Последние слова мамы долетают ко мне издали, растягиваясь, как мыльные пузыри, и меня охватывает покрывало сна...

Наверное, и сейчас за окнами домов кто-то нежится в тепле домашнего уюта. Но мне до тепла далеко. Мне до него еще два десятка верст.

Прижавшись плечом к бетонной плите, я простоял в полужабытьи больше часа и продрог. Мелкий снежок, заносимый ветром за стену, превращал меня в какое-то изваяние в странном одеянии. Белый покров, видимо, доставлял неудобства и моему случайному попутчику — псу. Он вскакивал, всем телом судорожно стряхивал снег и вновь отрешенно плюхался на солому.

Снисходительность, жалость к себе размагничивают, деморализуют. Тело размякло, расслабилось и не хотело подчиняться. Оно умоляло постоять за спасительной стеной еще хотя бы минут двадцать... или десять... Ну или, на худой конец, минуты три. Оно не хотело уходить в ночь от светящихся окон, от редких фонарей, от мягкого, щекощущего лицо снежка. И вновь пробудился внутренний голос, который заискивающе уговаривал: «Не ходи. Остановись. Тебя пустят на ночевку в любой дом. Утро вечера мудренее».

Я посчитал эти стенания малодушием, усилием воли почти отодрал себя от железобетонной плиты и снова шагнул в буран. Пес поднял голову, удивленно посмотрел на меня. Но как ему, псу, объяснить, что мне нужно идти, что меня ждет мама?

Погода не изменилась. Все так же дул ветер, мело и снизу, и сверху. Все так же приходилось прощупывать путь железной клюкой, а внутри меня ныло и ныло от того, что приветливые фонари остаются позади. Еще немного, и они совсем скроются из виду.

Предстоявшие двадцать верст шляха особого восторга не вызывали, но не вызывали они и беспокойства. Ничего, думал, вон сколько одолел, одолею и их. Правда, утром мое настроение скрашивало ожидание скорого рассвета. Буранного, с ветром и поземкой, но рассвета. Сейчас на скорый рассвет надеяться не приходилось. Надо было надеяться на свои ноги, на внимательность и выносливость. Ну и еще на свою счастливую звезду.

Я был уже путником с полусуточным стажем, а значит, и с небольшим опытом, и он выручил. Шлях поднял меня на взлобок, я прошел по нему метров пятьдесят и вдруг опять почувствовал, что ветер вновь поровит дуть не в лицо, а в левый бок. Насторожившись, я остановился. Вспомнил, что на взлобке шлях разбегается на два рукава. Один, круто повернув, ведет в старинное село Красное.

Красное — село красивое. После наших разбросанных по открытой степи хуторов оно, окруженное вековой дубравой, казалось мне райским местом. Здесь, на стадионе, в начале каждого лета, после посевной, организовывали районные празднества, именуемые не иначе, как фестивали, на которые свозили и старых, и малых. Мы, пацаны, ехали сюда не за тем, чтобы поглазеть на футболистов или волейболистов, певцов и танцоров. Нас влекла не фестивальная нарядная толпа, не праздничная сутолока, а меркантильный интерес: ситро «Дюшес», конфеты-подушечки и мятные пряники. Мы знали: в этот день родители на сладости не поспеют. И возвращались мы домой, обвешанные гирляндами румяных калачей, с узлами пряников и большими кулками конфет.

Собственно, их можно было купить и в нашем магазине. Но кто ж будет тратить на них в обыкновенные дни? Баловство — и только. В фестиваль — иное дело. Он — как престольный праздник для всего района. А на престольных праздниках зажимать кошелек не полагается. Нам, пацанам, конечно, раздолье. Особенно желанен лимонад «Дюшес». Ходишь с хозяйской брезентовой сумкой, где таится пяток бутылок ситро,

и уговариваешь себя до дома к ним не прикасаться. Вроде уговоришь, а сам инстинктивно ищешь какую-нибудь зацепку, чтобы сорвать железную, с гофрированным ободком в виде юбочки, пробку. Попадется ли пенек, старый гвоздь, торчащий из стены болт — все впору. Пробку срываешь так, чтобы фонтанчик ситро не выскочил наружу, и, прильнув к горлышку, жадно пьешь отдающую спелой грушей и покальывающую в нос влагу. Спроси тогда, что такое живая вода, ответили бы — ситро. Через час-полтора — вновь поиски открывалки. До отъезда домой еще ой как далеко, а у тебя уже ни бутылки...

...Наверное, я повернул не в ту сторону, подчинившись внутреннему, ожидавшему праздника инстинкту. Но ни раскапывать снег, не оцупывать голыми руками дорогу не пришлось: от развилки я ушел недалеко и быстро вернулся на нее. Однако поволноваться все-таки довелось. Отдышавшись, вновь отправился в путь.

Вспоминания о родительских фестивальных дарах напомнили о том, что после картофельного пиршества в поезде с лучшими представителями студенческого братства я ничего не ел. И с собой съестного не прихватил, но на всякий случай оцупал карманы пальто. В правом было что-то круглое и твердое. Выяснилось: две картофелины, которые положил мне кто-то из попутчиков в поезде. Положил шутя, ради хохмы, а оказались кстати.

Вновь вспомнился эпизод из книги Антуана Экзюпери «Планета людей». Два летчика потерпевшего аварию самолета оказались в раскаленной Сахаре. Положение отчаянное — ни воды, ни еды. И вот среди обломков самолета пилоты находят апельсин и делят его пополам. Экзюпери смотрит на огненно-рыжий плод и думает о том, что в повседневной жизни люди не знают, какое это богатство — апельсин. Он высасывает дольку за долькой, считает падающие звезды и в этот миг счастлив бесконечно.

Мне попроще. Я не в пустыне. Но я тоже думаю, что в обыденной жизни люди по-настоящему не знают, что такое картофелины. Правда, нежданый подарок замерз, превратившись в два холодных голыша. Но это дело поправимое. Я переместил картофелины поближе к телу — во внутренний карман пиджака, чтобы оттаяли. Но оттаять им тоже не дал. Рука сама тянулась к еде. Я отгрызал от картофелины дольку мякоти и шел, посасывая ее, как конфету.

— Господи, — думал я, — как же нам не хватает способности вот так вот провидчески, как бы невзначай помочь ближнему добрым словом, картофелиной, коробкой спичек. Как же мы беспечно заняты собой и как редко вспоминаем о других людях, которые торят с тобой одну тропу?! Как часто невинная шалость превращается в неоценимую услугу и как часто вроде бы неоценимая услуга ведет к беде?! Как бы научиться предугадывать эти превратности судьбы?!

Тяжелая монотонная работа опустошает, отупляет, выветривает чувства. Мой марш-бросок тоже отупляющ и опустошающ. Идешь и все время думаешь, когда же, наконец, будешь у цели. Но эта сосредоточенность на дороге не благо, потому что она делает надоедливой твою затею. А дорога не только связывает город с городом, село с селом. Это путь от сердца к сердцу. Дорога — это всегда путь домой, где бы ты ни находился. А путь домой — самый приятный. Дорога — это тоже оберег от одиночества. И даже если ты остаешься совсем один, сделай так, чтобы тебя незримо сопровождали люди, которые для тебя — словно маяки в штормовом неспокойном море.

Мне вспоминалась школа. Наших родителей, у кого за плечами ликбез (были такие курсы грамотности), можно было причислять к выпускникам колледжа, ну а образование в два класса приравнивалось чуть ли не к высшему. К счастливым шли и днем, и ночью — кто справку сочинить, кто письмо к властям. Грамотность ценилась высоко. Школа воспринималась не как какое-то казенное учреждение, а как храм, куда ходят причаститься, исповедоваться. Это трепетное отношение к образованию передалось и нам.

Да, моя школа, построенная по специальному проекту в виде буквы «п», с той лишь разницей, что перекладинка этой самой буквы была широкой, а ножки приземистее, даже отдаленно не напоминающая храм, воспринималась именно как храм. Это единственное в округе здание было крыто дефицитным шифером. Высокие, до потолка (а потолки метра в три), и одновременно узковатые, похожие на готические окна просторных классов были развернуты на юг, на сад и пруд. Оттого-то в наших партах весной гнездились ароматы цветущих груш и яблонь, а осенью — спелых антоновских яблок. Зимой же даже в самые пасмурные, хмурые дни в классах было светло. Нетипичные для наших мест печки-голландки тоже являлись своеобразным украшением классов, хотя надо признать, что в январские дни не спасали от холода и они. Чернила в стеклянных или белого цвета с синими ягодками керамических чернильницах-непроливайках замерзали. Мы занимались в верхней одежде и от письменных заданий были освобождены.

Тем не менее, даже в суровые морозы ходили в школу с удовольствием. Мы, дети деревенских мазанок с повсеместными тогда земляными полами, приводимыми в порядок к престольным праздникам с помощью смеси из коровьего навоза и глины, с нетерпением ожидали первое сентября. Заходишь в школу, а там радостно встречают тебя принаряженные учителя. Там ликующе праздничные, единственные в округе дощатые полы шоколадного цвета. Там подновленные, стоящие в два-три ряда подкрашенные парты, подмарафеченные школьные доски, на которых мелки оставляли четкие, резкие следы. И учебники, будто только что специально испеченные блины. Не для кого-нибудь, а персонально для меня, для каждого из нас. А еще запахи и звуки, нигде более не встречаемые.

С севера к школе подходил дубовый лес. Мы шли по нему метров триста. Возвращаясь домой, качались на толстых дубовых ветвях и все время чем-нибудь лакомились. Весной — колпачки. Так называли лесную землянику, красные шапочки которой действительно похожи на миниатюрные колпачки. Они прятались в траве, их было мало, и попадались эти самые колпачки, с одного боку припеченные солнышком и оттого розовые, а с другого боку с зеленцой, только счастливым. Мне — редко!

Запахи детства всегда особые. Запахи лесной земляники — колпачков, сорванных детскими руками — тем более. А осень дарила нам терпкий терн, набивавшие оскомину дикие яблоки и груши. Разве сравнится с их ароматом запах недоступных заморских фруктов — мандаринов, абрикосов, апельсинов? Если вы спросите у меня, отвечу — ни за что. За морским диковинкам до запаха нашей стеснительной земляники ох как далеко!

Метрах в двадцати от школы, горделив и задумчив, стоял трехсотлетний дуб. Высотой он с пятнадцатизэтажным домом, а в объёме метра четы-

ре. Великан окружало несколько осин его возраста. Он как бы накрывал их, оберегая от непогоды.

Бывало, осенью дожدهшься перемены — и к дубу. Подбежишь и замрешь, приобняв его, прислонившись щекой к шершавой, в морщинах, отдающей металлическим цветом коре. Глянешь вверх, а оттуда, с высоты, сквозь медового цвета листву еле-еле пробивается осеннее солнышко.

Иногда неожиданно и глухо падают желуди. Некоторые попадают на выступающие из земли корни дуба. Зеленая шапочка желудя тут же отскакивает, а сам глянцевиый коричневый плод спешит укрыться в опавших листьях.

Сердце бухает в груди, как колокол, а ты стоишь, закрыв глаза, набираясь сил от этого великана — такое было поверье. Потом надобно обязательно глотнуть холодной ключевой воды из расположенного под деревьями колодца. И только тогда ты действительно почувствуешь прилив сил.

Но задерживаться некогда. Впереди, метрах в пятидесяти, рядом с замшевыми деревянными амбарами, высокие, статные груши, стволы которых обрамляет зелень лишь на самом верху. Чудится старинный корабль с мачтами до неба и зелеными парусами. Подбежишь, а тебе подарок в пожухшей под деревьями листве — несколько лежалых, порыжевших диких плодов.

Схватишь этот подарок — и в школу. На уроке гоняешь во рту лежащую грушу как конфету, решая задачи и осиливая премудрости грамматики или в сладостной истоме мысленно повторяя вслед за учителем очень уж уютные пушкинские строки:

...О-чей о-ча-ро-вань-е!

При-ят-на мне тво-я про-щаль-на-я кра-са —

Люб-лю я пыш-но-е при-рот-до у-вя-да-нье,

В баг-рец и в зо-ло-то о-де-ты-е ле-са...

Вся наша хуторская жизнь шла бок о бок с минувшей войной. Война была в прошлом, но лишения, которые пришлось пережить, не сдать на хранение, не спишешь за ненадобностью. Они всегда в сердце, всегда определяют его ритм. Они побуждают настроенно относиться ко всему, что может нарушить мирный день.

Километрах в семидесяти от хутора, в городе Острогжске, с давних пор размещалась воинская часть. Соседство было желанным. Моим землякам довелось в этой части служить. Рассказывают, что некоторые особо пронирыливые хуторяне умудрялись в увольнительную на час-два приезжать на побывку домой. Я отношу эти рассказы к разряду небылиц, сочиненных ради бахвальства. Автобус к нам не ходил, на редкий даже летом попутный транспорт надежд немного, и вроде бы небольшое расстояние оказывалось серьезной преградой.

Воинская часть, естественно, жила скрытой от посторонних глаз жизнью и никого особо не тревожила. Но однажды она доставила хуторянам несколько неприятных дней. Проснувшись ранним летним утром, они увидели, как по шляху, который пролегал по взлобку, километрах в полутора от хутора, нескончаемой вереницей шли машины. Шли час, другой, третий. День на исходе, а они все идут и идут. Гул самолетный, фары горят, пыль столбом. Со стороны колонна походит на стоголавое чудище.

Но хуторянам было не до сказочных сравнений. Они помнили, как в

военное лихолетье по этому же шляху трое суток тоже клубилась пыль — проходили войска... Решили — война. С магазинных полок было сметено все, что представляло хоть какую-нибудь ценность: соль, спички, сахар, конфеты, пряники — все! Дородная цистерна с керосином опустела в несколько минут.

Мужская часть населения налегала на водку. Распивали тут же, в магазине. Просили друг у друга прощения за возможные обиды, наказывали, если что, помочь семье, щедро угощали детей сладостями. Вечер наступил, но люди держались кучками, островками, не расходились. Только к середине ночи поток машин иссяк.

А дня через два колонна возвращалась в Острогожск. На этот раз реакция была менее нервной, но все время, пока шли машины, взрослые, старики, дети стояли на улице, готовясь к любым неожиданностям, и крестились. Люди особо не интересовались политикой. Но отзвуки Карибского кризиса доходили и до нашего хутора. Сходились во мнении, что американцы — народ себялюбивый, коварный. Глядишь, и схватятся за оружие. Вон на Японию даже атомную бомбу сбросили. Некоторые этим и успокаивали.

— А вы, бабы, не горюйте, — говорила одна, бойкая, лисоватая хуторянка, по прозвищу Гопа. — Секунда — и испарился, на небесах у Всевышнего. Вот и поблаженствую.

Ее слова окружающие воспринимали как святотатство. А мой сосед, тот, что надоумил меня заговаривать полову, успокаивал:

— Не волнуйтесь, американец не нападет. Он не умеет, как мы, погибших оплакивать. Не доводилось как-то.

Фраза эта запомнилась. А и действительно — не умеет оплакивать. По-нашему — голосить так, что волосы дыбом вставали. Потому что ни разу, как говорится, до последнего патрона, до последнего солдата, до последнего вздоха он, американец, ни с кем не воевал. Он любит — из-за угла. Лоб в лоб у него не получается.

Наше детство тоже было круто замешано на минувшей войне. Недоедали, ходили в чем придется, не знали отцовской ласки по ее велению. В войну играли часто. Но это была какая-то странная война. Мы били фашистов из всех видов доступного нам наступательного оружия: из рогаток, луков, самострелов, из вырезанных из старых досок автоматов, которые походили на немецкие шмайсеры.

Зимой к грозному арсеналу прибавлялись вылепленные из снега пулеметы и гранаты — снежки. В хутор снега наносило много, иногда — до самых крыш. Поэтому рыли окопы, а планы операций разрабатывали при свечах в снежных блиндажах, на стенах которых, как годовые кольца на срезах деревьев, проявлялись слои снега. По ним, наверное, можно было определить, сколько раз за зиму лютовала непогода. Но нам такие исследования были ни к чему — к боевым операциям они не имели никакого отношения. Нашей отваги и храбрости противник не выдерживал и быстро сдавался. Тем более, что противник был в единственном числе, года на три младше нас и еще картавил: от роли фашистов даже под угрозой применения силы сверстники отказывались.

Была круто замешана на войне и учеба. Моя школа известна в округе тем, что с ней связаны имена не просто двух Героев Советского Союза, а учителя и ученика. Учитель, Алексей Митрофанович Жданов, родом из села Круглого, раскинувшегося километрах в десяти от наших мест. Основали Круглое тоже однодворцы, люди, которым выделяли землю за

охрану ближних границ Руси от супостата. Но особой воинственностью поселенцы не отличались. Здесь сохранился очень оригинальный, о многом говорящий памятник: дзот, построенный в военное время, стал пьедесталом для самого обыкновенного, вышедшего в тираж трактора. Местные умельцы умудрились установить трактор так, будто он рвется в полет. Чью голову осенила эта счастливая идея, неведомо. Идея очевидная: в красном углу у нас хлебопашество, а не окопы и дзоты. Такая вот своеобразная переключка с известной скульптурой, призывающей перековать мечи на орала.

Алексей Жданов до войны окончил Острогожский педагогический техникум. Я слышал воспоминания о многих учителях-мужчинах. Но только один из них преподавал русский язык и литературу. Почему-то уверен, что в первую очередь за такими, как он, вели охоту фашисты. Кто для них были русские люди? Унтерменши. Недочеловеки. Поэтому каждый, кто рассказывал детям о русском языке, о нашей литературе, истории, культуре, подлежал уничтожению. В июле 1944 года в Белоруссии батальон майора Жданова попал в окружение. Майор организовал круговую оборону. Несколько часов отбивали атаки фашистов. Загорелись свечей три танка с крестами, уткнулись хоботами в землю два штурмовых орудия, на подступах к батальону полегла рота пехоты «истинных арийцев». Батальон сумел прорвать окружение, но командир получил смертельное ранение. Стал Героем Советского Союза посмертно, в 27 лет.

А его ученик — Михаил Чубарых — из наших, местных. В каждом классе висела фотография молодого скромного паренька в пилотке, которого сфотографировали тогда, когда он к этой пилотке, наверное, еще не успел привыкнуть. Совсем ребенок, едва ли не наш ровесник. Перед войной, в 1940 году, окончил семилетку. Решил остаться в родных местах, растить хлеб. Пережил оккупацию. Спустя всего несколько дней после освобождения хуторов стал семнадцатилетним пулеметчиком 40-й армии Воронежского фронта.

Младший сержант Михаил Чубарых был воином отважным. За время оккупации насмотрелся и заслушался много такого, что и в дурном сне не приснится. Правда, наши хутора отделились от фашистов сравнительно легко: домашним скарбом, пострелянной домашней живностью от коров до кур, да садами, вырубленными оккупантами для отопления. Да еще был взорван памятник Сталину. Его осколки фашисты столкнули в пруд. На них, купаясь, спустя десятилетия наткнулись мальчишки. Жители хотели восстановить памятник, но инициатива пришлась не ко времени: на дворе похаживала хрущевская оттепель...

Была загажена и школа, которую всем миром построили перед войной. Принимала участие в том коллективном строительстве и моя мама. Поэтому, когда до нее доходили слухи о моей шалости, она меня осаживала, приговаривая:

— Ты в школе, сынок, марку-то держи. Я школу для тебя строила. Не бедокурь.

Пришельцы с того света, как называли фашистов в наших хуторах, устроили в школе нечто вроде госпиталя, а в конце концов превратили ее в нужник. Отмывали, охорашивали, выводили запахи нечисти тоже всем миром.

Рассказывая об оккупации, нам, детям, много говорили о фашистском отродье, но не уточняли, кто входил в это самое отродье. Конкретизировать было, видимо, нежелательно, чтобы не бросать тень на некото-

рых наших друзей и партнеров. Например, венгров. Хотя они злобствовали, и злобствовали не меньше немцев. В самом центре одного из хуторов венгры для профилактики соорудили виселицу. Чуть что, подведут, покажут: смотри, мол, будешь болтаться на веревке. Жила в этом хуторе семья деда Кобзева. Ее глава, сильный, мощный, бычьей упертости старик отличался крутым нравом. Сказал что-то обидное прихвостням оккупантов из местных. Были, увы, в хуторах и такие.

— Ах ты, красная гнида, — те в ответ, — у тебя два сына на фронте, а ты еще и выпендриваться? По тебе виселица давно соскучилась. Ожидай, ночью придем.

Что оставалось делать? Попрощался с семейством, отправив внуков и жену к дальним родственникам. Надел чистое белье. Сидит, ждет гостей. В руках топор. Встречать так встречать! Полночь минула — никто не идет. Наконец, под утро — стук в окошко. Но стук не настойчивый, не повелительный, а сторожкий, несмелый. Дед, сжав топор и перекрестившись, пошел открывать. Оказалось — наши, разведчики.

— Кто ж так встречает гостей? — упрекнули хозяина. — Мы с добром, а он с топором.

А дед бросил топор под лавку, перекрестился, трижды по-русски поцеловался с каждым ночным визитером и схватился за сердце. Еле откачали.

В других местах не обошлось без крови. В соседнем хуторе фашисты обнаружили раненых красноармейцев, которых укрывали жители. Людей согнали в конюшню. Мужчин расстреляли, дома, ограбив, подожгли. Погибло 49 человек. Около одного из сел оккупанты-венгры обнаружили убитого своего соотечественника. Почему он погиб, выяснять не стали. Нескольких наших мужчин заставили раздеться догола, вырыть могилы, а затем расстреляли.

Злодейство, особенно, когда оно направлено против женщин, стариков и детей — дрожки ненависти. В школе мы реконструировали боевой путь 40-й армии и младшего сержанта Михаила Чубарых. Очень сложный, очень опасный — от Воронежа через Курскую дугу к Днепру — маршрут. Нам показывали выписку из дела о награждении земляка медалью «За отвагу». Выходило, что наводчик пулеметной роты второго стрелкового батальона младший сержант Чубарых не только был отменным пулеметчиком. В ходе схватки — штык на штык — гранатами уничтожил четырех оккупантов со всем их вооружением.

Через неделю он снова отличился — при форсировании Днепра. Под ураганным минометным и пулеметным огнем переправился с группой красноармейцев через Днепр и захватил плацдарм. Плацдарм стоил тысяч спасенных жизней наших бойцов. Гитлеровцы не единожды контратаковали, пытаясь сбросить горстку смельчаков в реку. Не получилось. О том, каков был масштаб героизма, свидетельствовала хранившаяся в школе копия наградного документа, который почти полтора сотням участникам боев было присвоено звание Героя Советского Союза. Моему юному земляку — тоже. Погиб младший сержант Чубарых раньше, чем его учитель — в 18 лет. Погиб при выполнении боевого задания далеко от дома. Чуть-чуть не хватило, чтобы ступить на землю инородцев, которые вместе с фашистами позарились на наши просторы, на наше добро, на наши культурные ценности, вывозя их составами. Но на их пути встали деревенские пареньки отнюдь не богатырского вида и сказали: не позволим! Не позволим растоптать нацию!

Вот какие у меня, у моих одноклассников были учителя, вот на кого мы равнялись. Писали сочинения, проводили торжественные линейки, на которые приглашали родных Михаила Чубарых. И сейчас, шагая по бурному шляху, я вдруг понял, что эти уроки, эти линейки, иногда казавшиеся скучноватыми и совсем не обязательными, создавали в школе, воспитывавшей из нас атеистов, какое-то религиозное чувство почтения героев.

Наверное, каждый верующий грешен. Но на стезю греха он ступает с оглядкой на Всевышнего. И эта «оглядка» оберегает, «отговаривает» от многих неблаговидных, греховных поступков. Мы, школьники, тоже не были пайныками. Мы хулиганили и дрались. Мы не учили уроки или учили их кое-как. Мы обижали девочек и в раннем возрасте пытались покуривать, опустошая отцовские кисеты. Мы были такие, как все. Но жизнь героев невольно влияла на наше поведение, и именно это влияние избавляло нас от многих возрастных опрометчивостей. Высоцкий написал строки: «Наши павшие — как часовые». Воистину — часовые!

...Ночь еще была тяжелого, крутого замеса. Но ветер начал утихать. Снег шел — редкий, ленивый, обессиленный. В эту погоду в кромешной темноте идти оказалось не легче. Я почти лишился надежного ориентира — ветра. Приходилось тщательней и чаще ощупывать дорогу железным стержнем.

Я опять устал, хотя и прошел всего верст двенадцать. Решил отдохнуть, присев на краю дороги на чемодан и опершись на железную клюку. Тянуло в дрему, но воспоминания о школе не давали заснуть. На память пришло письмо американского президента Авраама Линкольна учителю своего сына, на которое случайно натолкнулся в одном из старых журналов. Президент хотел, чтобы сын вырос нравственно здоровым человеком. Чтобы понимал, что один заработанный доллар намного ценнее, чем пять найденных. Чтобы умел проигрывать и наслаждаться победами. Чтобы доверял собственным идеям, даже если ему твердят, что заблуждается. Чтобы был мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. Чтобы усвоил: намного почетнее потерпеть неудачу, чем смощенничать. Чтобы смеялся над циниками и остерегался чрезмерной слащавости. Чтобы имел высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. Линкольн просил педагога дать сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкает к победившей стороне, научить выслушивать всех людей, однако все, что он слышит, рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее.

Задумался, а что бы написала моим учителям мама, если бы возникла такая необходимость? Наверное, написала бы только одну фразу: помогите стать сыну грамотным. Потому что грамотность для нее была абсолютной ценностью, которая не могла не включать добрые человеческие начала.

Она искренне считала: коль человек способен читать мудрые книги, значит, он способен отличить добро от зла и обязан быть проводником этого добра. Мама снисходительно относилась к огрехам в поведении обыкновенных, то есть не имеющих высшего образования, людей. Оправдывала: а что с него взять — неуч. И горестно всплескивала руками, если узнавала, что в неблаговидном деянии уличили какого-нибудь интеллигента нашего, местного роду-племени. Как же так, удивлялась, у него ведь высшее образование, а ведет себя как Гришка Отрепьев.

Откуда она знала о существовании этой темной, но вполне образованной для своего времени личности, утверждать не берусь. Но Отрепьев был для нее воплощением любого зла. Бражничает — Отрепьев. Ворует — Отрепьев. Лентяй, каких свет не видывал — тоже Отрепьев. Может быть, оттого, что тот нагло заявил о своей способности, осуждаемой в любой среде, — способности предать?

У мамы образования было, как она сама говаривала, два класса и коридор. Когда в хуторе появились курсы по ликвидации неграмотности, их называли сокращенно ликбезами, бабушка разрешила ей поучиться месяца два — не больше. Это и были два класса. Остальное — «коридор». Не до учебы было.

Писала короткие письма прописными буквами, которые наползали друг на друга. Порой выпадали целые слоги, образуя фразы, которые с трудом поддавались расшифровке. Но каждая строка, составленная из самых обыкновенных слов деревенского обихода, была столь искренней, что читать ее без волнения, без предательски подступающего к горлу кома было невозможно. *«Моя ты дитятка, ночь на дворе, а я не могу унять свое сердце и пишу тебе письмо»*. Всегда думал: вот он, первый закон общения: когда слова идут от сердца, громкие фразы не нужны. А что ночь на дворе, понятно: в летнюю пору время для письма можно было выкроить только глубокой ночью.

Она часто говаривала:

— Учись во что бы то ни стало, сынок. Если б была у меня грамотешка, я была бы, как Косыгин...

Косыгин, Председатель Совета Министров страны, был для нее почему-то непререкаемым авторитетом. Утверждала: были бы все наверху, как Косыгин, жили бы мы «как у Христа за пазухой».

Быть грамотным человеком для мамы означало не только быть человеком, наделенным ангельскими добродетелями. Это означало возможность выбиться в люди — то есть заниматься умственным, а не тяжелым сельским физическим трудом. Бригадир, агроном, зоотехник — уже хорошо. Если же получил городскую инженерную профессию, отношение к тебе, как к космонавту. Работа конструктора ли, инженера ли, химика ли почему-то представлялась в деревне упрощенно — как составление бумажек и как несоизмерную труду огромную зарплату. Гляди-ка, говорили, не голова, а Дом Советов, станки конструирует. Вот повезло так повезло: восемь часов бумажки поперекладывал — и домой. А деньжищито какие платят — не чета нашим грошам. Поэтому, сынки и дочки, учитесь!

Только сейчас, в пургу, в пути, мне пришла мысль, какое это своеобразное явление — школа. Животным и птицам без родительского внимания не обойтись. Но оно, как правило, непродолжительно, скоротечно. Нужная для жизни информация передается на генном уровне. А для того, чтобы отправить в самостоятельный жизненный полет человека, уходит минимум два десятка лет. Родительского опыта уже не хватает. Нужен опыт и знания людей специально подготовленных. Без них даже сыну Линкольна — никуда, а уж нам, деревенской ребятне, тем более. Это не нанятые родителями гувернеры, мамки и няньки, как было в старину, не выписанные из-за кордона мастера хороших манер и заморских языков. Они — местные, от сохи. Они не киношные, не литературно-вычурные, а живые, с плотью и кровью, люди — наши учителя, делившие с нами будни и праздники.

Будней, конечно, было больше. Порою трагических. Однажды мои сверстники нашли ржавый снаряд времен войны. Сразу после оккупации снарядов, мин, патронов этих было как грибов в урожайный год. Постепенно «урожай войны» собрали и уничтожили. Но кое-что осталось в земле и иногда обнаруживалось в самых неожиданных местах. А у подростков была и есть одна страсть: коль найден взрывоопасный предмет, его непременно надо либо разобрать на детали, либо взорвать. Решили взрывать. В глубоком овраге развели костер, положили туда смертоносную находку и залегли метрах в 30, ожидая взрыва. Костер прогорел, а взрыва нет и нет. Надумали посмотреть, что случилось. Только подошли к злополучному оврагу — и ахнуло. Нескольких искателей приключений тяжело ранило. Их спасло лишь то, что наши учителя сдали кровь для переливания. Война закончилась годы назад, но исподволь она еще искала свои жертвы, метя даже в нас, несмышленную и доверчивую сельскую ребятню...

...Сложив руки на железной клюке и опустив на них голову, я сидел и сидел на чемодане, не в силах подняться, и картины школьной жизни, рождаясь где-то на периферии памяти, проплывали передо мной, как стройные ряды военных на параде.

Первый класс.

Октябрь.

Третий день лежу дома — болею. От высокой температуры наступает какое-то безразличное полузабытьё. Знобит. Мама в поле — всюю разыгралась свекловичная страда. Идет мелкий осенний дождь. В горнице сумрачно и прохладно: уголь, засыпанный в печку утром, видимо, уже прогорел. Лежу и думаю о том, что заболел некстати. Пошел в школу, не умея ни писать, ни читать и даже не зная букв и не умея считать. Правда, в классе не один я такой. Но все учатся, а я лежу с матрасом в обнимку. Как потом наверстывать?

Вдруг слышу знакомый голос:

— Можно к вам?

Оказалось, гость неожиданный: моя учительница. Мария Ивановна. Я относился к ней настороженно. Ходила не как все — в хромовых сапогах и темно-синем осеннем пальто, напоминающем френч. На щеках — паутинки красных мелких сосудов. Голова не покрыта, а как-то небрежно замотана шалью; шаль постоянно сползала на шею, открывая жидкие волосы с пробором посередине и с кудряшками по бокам. А главное — учительница курила, что было предосудительно в нашей сельской среде.

Правда, пристрастие к табаку она не афишировала. Но однажды я видел, как во время перемены в укромном месте школьного двора Мария Ивановна достала длинную папиросу, размяла ее, покатывая большим и указательным пальцами, затем для чего-то постучала основанием мундштука по папиросной коробке и, прикурив, жадно затянулась дымом, выпуская его густым облачком. «Курит, как мужик. А еще учительница называется», — мысленно осудил я ее и постарался ретироваться, но, наверное, был замечен. Поэтому неожиданный визит учительницы связал со случайно увиденной картиной и подумал, что сейчас меня будут упрекать в излишнем любопытстве. Решил сделать вид, что ничего не заметил и еле слышно, облизывая спекшиеся губы, прохрипел:

— Можно.

Слышу, как в прихожей гостя шумно снимает пальто, сапоги и, предчувствуя недружелюбный разговор, съезживаюсь под одеялом.

Она как-то неуклюже, видимо, оттого что комнатные тапочки были не по размеру, вошла в горницу и прикоснулась холодной рукой ко лбу.

— Да, болеем, молодой человек, болеем, — неопределенно сказала гостья. — Уж не на уроках ли просквозило тебя, миленький?

— Нет. Воды холодной напился. Из родника... — обрадовавшись тому, что допроса по поводу моего любопытства не будет, пролепетал я.

— Ну что ж, бывает. В школу хочешь?

— Хочу!

— Раз в школу хочешь, вылечимся.

Узнав, где что у нас хранится, принялась хозяйничать. Через полчаса на чугунной плите печки, наслаждавшейся очередной порцией антрацита, весело позванивал крышкой кипящий чайник. На накрытом газетой стуле рядом с кроватью уместились дольки черного хлеба, похожее на ромашки печенье. В центре появилось самое главное — игрушечного размера керамический кувшинчик, до краев наполненный густой массой темно-коричневого цвета. «Мед, свежий гречишный мед, — с замиранием сердца определил я. — Вот это повезло!»

Действительно, повезло. Медом доводилось лакомиться лишь раз в году, на Медовый Спас, церковный праздник, который бывает в середине августа. Несколько хуторян держали пасеки. Пасеки — громко сказано. Так, с десятком ульев, расставленных у дома. Хозяева не вывозили ульи поближе к цветущим полям подсолнечника, гречки, кориандра или клевера. Все лето пчелы были на подножном корму, поэтому меда набирали не много. И лишь один дедок, обличьем напоминавший киношного отшельника — бородатый, в выпущенной поверх брюк холщовой рубашке, — делился медом с нами, детворой. Было это как раз на Медовый Спас. Фамилия у нашего благодетеля была Толмачов, но все звали его дедом Толмачом.

Напоминать о празднике нам было не надо. С раннего утра мы роём вилась у колхозного амбара, находящегося невдалеке от дома нашего покровителя. Мы вроде играли, но каждый косился в сторону этого дома, и каждого преследовала мысль о том, пригласят ли нас на этот раз отведать медку. О том, что мы не прочь им полакомиться, сигнализировали вполне определенно. И у нужного места ни свет, ни заря собрались, и играли нехотя, и смеялись чересчур громко, вызывающе, с тем расчетом, чтобы там, за подслеповатыми окнами, знали: мы пришли и в любую минуту готовы продегустировать содержимое молочной алюминиевой фляги, закрывающейся круглой крышкой с плотной черной резиной по окружности.

Наконец, дед Толмач выходил на крыльцо и веселым голосом говорил одну и ту же фразу:

— Эй, хлопцы, прошу пожаловать к столу. Как-никак, божий праздник.

Хлопцы жаловали бегущей к дому наперегонки ватагой, кое-как мыли руки холодной водой из притороченного к вербе рукомойника и спешили в горницу, деловито, по-свойски усаживаясь на самодельные деревянные лавки за грубо сработанный стол. Против каждого — деревянная некрашеная ложка, алюминиевая кружка с родниковой водой и несколько ломтей свежеспеченного ржаного хлеба. А украшала стол большая деревянная чаша, полная меда.

Мед был разный. Иногда маслянисто-янтарного цвета, подсолнечный, иногда темно-коричневого — гречишный. Но всегда свежий, с цветочными остатками, будто специально для нас приготовленный.

И наши ложки пчелами кружились над чашей, норовя принести взятки попопней. Ложки наполнялись через край, и под ними янтарными серьгами повисали медовые капли, грозившие соскользнуть на стол. Надо было ловко поставить под эту падающую сосульку кусок хлеба и отправить улов в рот.

В небольшой горнице воцарялась тишина. Только сопели наши носы, и глухо стучали ложки о край блюда. Что за лакомство — свежий, пахнущий всеми погожими днями лета мед, обжигающий горло, со свежей выпечки ржаным хлебом, слегка отдающим чабрецом! А еще родниковая хрустальная вода! Без воды Медовый Спас нашим праздником назвать было бы трудно: меда много не съешь. Ложек с десяток сразу, пожалуй, осилить можно. Но ведь нужно наесться на целый год! Цедишь за медом студеную водичку и чувствуешь, как она медленно разливается внутри — до самой души. Две полных ложки яства на полстакана воды в самый раз.

Дед Толмач сидит, хитро посматривая на нас.

— Вот орлы так орлы! По еде сразу видно, кто будет работник, а кто работничек. Как, мед на животах еще не выступил?

— Не выступил, не выступил, — хором отвечаем мы, опасливо пощупывая свои животы, налившиеся, как арбузы.

Чаша с медом быстро пустеет. Мы вытираем ложки остатками хлеба, потом облизываем их и осоловело встаем из-за стола.

Хозяин стоит у двери и осоловевает голову каждого.

— Ну, богатыри, прямо настоящие богатыри, — похваливает напоследок.

Как при таких словах, при таком угощении не расправить плечи, не втянуть живот, распираемый водой, хлебом и медом?!

А сейчас мне персонально принесли мед, а не я за ним ходил! Гос-тья подсовывает мне под спину пуховую подушку, и полулежа я потчуюсь липовым чаем и медом. К печенью в виде ромашек не притрагиваюсь — так, баловство. Липовый чай с медом пью в первый раз. Вкус непривычно блаженный. Меня бросает в пот, я куда-то проваливаюсь и не слышу, а скорее угадываю голос учительницы, которая, сидя на стуле с чашкой чая говорит, что завтра она придет с фельдшером, а потом, денька через три, будет ходить ко мне после уроков каждый день заниматься. Иначе действительно отстану от одноклассников, и будет худо.

Слово она сдержала. Ежедневные путешествия в шесть километров по осеннему бездорожью, казалось, только раззадоривали ее. Она приходила, покрасневшая, возбужденная, минут двадцать приходила в себя за чашкой чая, а потом мы осиливали тайны букваря и арифметики. Мы быстро нашли ключик и к тому, и к другому. Оказалось, многие буквы похожи на птиц, животных, предметы, которые нас окружают. В слове «еж» две буквы и обе колючие, похожие на ежа; колесо — вылитая буква «о», мордочка совы похожа на букву «ф», а слово «уж» тянется так змеевидно, как и сама рептилия. Цифры тоже подчиняются природе. Единица — вылитый гусь с вытянутой шеей, двойка — наш кот, который сидит на полу, греясь у печки, восьмерка очень похожа на снеговика, а от шестерки отдает уткой, возвращающейся под вечер домой с пруда.

Под конец урока мы учились прибавлять и вычитать. Тренировались

на богатых красных яблоках, которые учительница припасала в портфеле. Последним действием было вычитание.

— На стуле у нас четыре яблока. Предположим, что два съел добрый молодец. Кто у нас добрый молодец? Правильно, ты. Давай, ешь.

Я налегал на яблоки. Они пахли всеми запахами лета. Я старался есть их не спеша, степенно, но не всегда мог справиться с собою. Зубы сами вгрызались в плотную белую мякоть. Она хрустела, брызги кисло-сладкого сока летели во все стороны. Не успеешь моргнуть, а яблок нет.

— Ну, что, справился, добрый молодец? Молодец. Так сколько яблок осталось на стуле? — интересовалась учительница.

Я отвечал и получал оставшиеся плоды в награду за правильный ответ.

Я уже стал привыкать к визитам Марии Ивановны и каждый день с нетерпением ожидал, когда раздастся заветное: «Можно к вам?»

Выздоровливать не очень хотелось. Хотелось, чтобы наши уроки, подарившие мне маленький ключик к осмысленному усвоению букв и цифр, длились как можно дольше. Хотелось, чтобы под подушкой всегда лежали ее дары — гляцевитые, крутолобые, краснощечие яблоки. Чтобы я, время от времени приподнимая подушку, поглядывал на свое сокровище. И чтобы настенные ходики заговорщицки подмигивали мне кошачьими глазками, двигавшимися туда-сюда вместе с маятником...

А вот из закоулков памяти, словно из тумана, медленно выплывает другая картина, льдиной ворочаясь на стремине весенней отходящей от зимы реки.

Седьмой класс.

Урок русского.

Только что повелительный школьный звонок известил об окончании перемены. Шумно, весело усаживаемся за парты, разгоряченные игрой в лапту. У семиклассников это не просто игра, это уже игра со значением, со смыслом.

Вот тебе подбрасывают красно-синий мячик величиной с куриное яйцо, и ты, слегка присев, молодецки развернув плечо, поднимаешь его легкой ошкуренной кленовой битой до самого облака, которое, наверное, в первый раз видит такой отчаянный удар. Вот ты, изгибаясь всем телом, заячьими зигзагами бежишь в городок соперника и возвращаешься восвояси, чудесным образом избегая «салок» мячом.

Вот ты ловишь мяч, поднятый битой соперника в высокую свечку.

Ты делаешь это с такой доблестью и отвагой, будто спасаешь человечество от нашествия варваров. И все — ради нее. Ради той, с косичками, с пышными бантами, с ажурным белым воротничком на точеной шейке, которая сидит впереди тебя. Твоя доблесть замечена и высоко оценена: прежде чем усесться за парту, она (она!) оборачивается и показывает тебе (тебе!) язык.

Но вот задвинуты в парты портфели, с глухим стуком захлопнуты крышки, заняли свое место ручки, упакованные в обложки из газет учебники и тетради. Класс замирает. Любопытное весеннее солнышко внимательно разглядывает каждого из нас, стараясь определить, все ли готово к уроку.

Мы ожидаем уроков по-разному. Одни с нетерпением, другие с равнодушием, а третьи, может быть, даже с неприязнью. Но к урокам русского языка и литературы это не относится. Они желанны. Они по душе всем. И вот как-то торжественно, радостно, будто сама собой открывает-

ся дверь, и в класс заходит наша учительница с кипой прижатых к груди разноцветных тетрадей и указкой. Ничего в ней, казалось бы, особенно. Девичьи годы позади, слегка полновата, скроена по-крестьянски крепко. А стоит ей только появиться в классе, все преобразается. Сегодня она как-то по-особому взволнована, ликующе приподнята. Бережно опустила стопку тетрадей на стол.

— Ох, еле донесла эту кипу, — говорит она грудным, обволакивающим голосом. — Столько хороших оценок за диктант поставила, что тетради распухли от радости. Но только один из вас написал на пятерку. Отгадайте, кто?

Гадаем.

Называем, конечно, имена отличников и хорошистов.

Она ходит между рядами парт, гладит каждого по голове и радостно, с удовольствием твердит: нет, не угадали.

Перебрали почти всех. Ну, не называть же одноклассника, который перебивался с двойки на тройку. Не потому что не хотел учиться. Ну не давался ему наш великий и могучий. Но выяснилось, что именно он и написал диктант без единой ошибки. Сенсация даже не классного, школьного масштаба! Как ему удалось вместе с учителем на занятиях после уроков отгадать его загадки — осталось тайной. Класс взорвался аплодисментами. Одноклассник стоит, сгорбившись, будто его уличили в чем-то неблагоприятном, и его плечи сотрясают рыдания. Ведь эта похвала ему в школе, наверное, первая за семь лет.

— Вот видите, ребята, мы все можем. Надо только верить в себя, — говорит учительница, отворачиваясь от нас и вытирая носовым платком не вовремя проступившие слезы.

— Мы все можем... Надо только верить в себя... — вторит невесть откуда взявшееся эхо. Слова наползают друг на друга и укатываются куда-то вдаль перекати-полем, подгоняемым ветром.

...Долго ворочавшаяся беспокойная ночь под утро утихомирилась, угомонилась. Обессиленный ветер притаился где-то в занесенных снегом ярах, балках, оврагах. Робко, стыло, отчужденно смотрят на белые барханы редкие звезды. С низкого темно-синего неба обиженно и удивленно рассматривает окрестности проклюнувшийся после затянувшегося ненастья несмелый месяц. Вокруг, до самого горизонта, до редких лесополос, утонувших в буранных наносах, до хуторов, забывшихся в крепком сне, связанный бурей в снопы лежит безразличный ко всему снег.

На обочине шляха на чемодане, поставленном на попа сидит, опершись на железную клюку, молодой человек и посапывает, бормоча что-то во сне.

На дорогу выскакивает любопытный зайчишка. Он, видимо, не ожидал увидеть на шляху странника в этот час и, встав на задние лапы и приподняв длинные уши торчком, долго сучит передними лапами, будто отгоняя от себя наваждение, и, в конце-концов, ретируется в ближайшую лесную куртинку.

А путнику до дома оставалось всего ничего — каких-то семь-восемь километров...

...Я стоял в укрытии барского флигеля, зачарованный разгулявшимися ненастьем, вернувшим меня в юность. Как давно это было! Сколько воды утекло!

Уже не ласкают хуторские стезжки легкую на подъем маму, бабушку, других родственников и земляков. Не торопятся на уроки в школу мой учителя, университетские преподаватели.

Корю себя за то, что так и не догадался сказать им добрых слов. Тогда, в молодости, казалось, что доброта так же первозданна и естественна, как солнце, воздух, вода, море. А что за них благодарить? Живи, дыши, да радуйся — все твое, все для тебя.

Только теперь понимаешь, что доброта не морской, а родниковой природы и тебе несказанно повезло, если довелось найти этот родничок.

Другие времена, другие и песни. От грозди в пятнадцать хуторов сейчас остался пятачок. Да и те похожи на ручейки, которые вот-вот зайлит время. В моем родном хуторке всего с десяток жителей.

Стоят заколоченными добротные дома, равнодушно поглядывая на асфальт. Дело идет к тому, что лошадь или корова на подворье будут выглядеть в деревенском пейзаже как диво дивное. А ведь корм у власти теперь не надо отвоевывать серпом — бесплатно выделяет. Не надо ожидать самых желанных подарков в виде полешек для печки — газ в каждом доме. Не надо вступать в единоборство со стихией на буранном шляхе. Полчаса на машине в любую погоду — и ты в Алексеевке, три часа — в Белгороде или Воронеже.

Но если раньше глубинка была кормилицей страны (по крайней мере, так мы и родители наши считали), то теперь она стала ее вынужденной содержанкой. Поддерживать жизнь в хуторах надо, а экономического навару от этого никакого.

Да и кому его варить?

И в былые времена молодежь в селе не задерживалась, хотя ее и пытались укоренить всеми правдами и неправдами. Теперь такие попытки причислены к пережиткам прошлого — вольному воля!

Но выбора, по существу, нет. Потому что нет работы. За землей приглядывают, в основном, приезжие (их тут называют варягами) из Алексеевки и других мест, а дойное стадо, овечьи отары, птицефермы, транспорт и тракторный гурт — лишь в воспоминаниях. Колхозы ушли в прошлое. Новые небольшие экономические ячейки только-только несмело проклеваются. Мои земляки умеют трудиться, но вот торговать, быть коробейниками, или, как они говорят, спекулянтами, не приучены. А рынок заквашен на коробейниках. И без того очень тонкая прослойка сельской интеллигенции растворилась почти полностью: инженеры, механики, агрономы, ветеринары, зоотехники селу в таком количестве оказались не нужны.

Финансово глубинка по-прежнему обделена. От земли мои хуторяне избавились легко: похоже, в те, колхозные, времена она действительно фактически была ничейной, коль ее отдали в чужие руки безропотно. Богаче от этого не стали. Но к богатству равнодушны, как раньше. Ему кланяются, его почитают, даже обожествляют.

И проглядывается за всем этим обожествлением ощущение обузы, лишних людей. В классической литературе это было помещичье сословие, которое не могло найти себя в новой жизни и уступало вишневым сады более разворотливым людям. Теперь это трудовой деревенский люд: время как бы распяло его между прошлым и будущим. И будущее проглядывает не очень радужное. Поэтому ребенок еще из пеленок выглядывает, а родители уже озабочены тем, как приторочить его к городскому седлу.

Вместо моей обветшавшей школы в соседнем, покрупнее, сельце построили новую, современную. Но она полупуста. Пустующие просторные классы, пожалуй, пострашней прошлой бытовой неустроенности.

Говорят: свято место пусто не бывает. Для меня мой край — место святое. А вот пустеет, хотя, по моим представлениям, страна без глубинки — что река без родников...

Воспоминания о прошлом так взбудоражили все мое существо. И я невольно задал себе коварный вопрос: а пошел бы сейчас, в моем возрасте, по пронизываемому ветром и метелью шляху пешком до дома, зная, что впереди более пяти десятков верст?

Непременно пошел бы.

Только чтобы ждали...

Только чтобы было к кому идти...

